

1 ноября 2019

Любая подлинная фантазия, только если подлинная, и постасна реальности. Да, речь идет именно о подлинной фантазии. В детстве, в отроческие годы для меня гениями фантазии, двумя совершенно разными, были Данте и Франсуа Рабле. В детстве я был наиболее свободен как раз в сфере фантазии. Доступной детству. Но эти два столь непохожих друг на друга гения так хорошо дополняли друг друга в моем детском опыте. Хотя я, фантазируя, никак не мог найти той формы, того жанра, того стиля, в котором я мог бы удержать эти создаваемые мною фантастические образы, создаваемые на грани между двумя мирами фантазии, дантовской и раблезианской. Данте очень рано для меня был гением проникновения вот в тот мир, который ожидает после смерти. Да, вот в детстве, в отрочестве я об этом очень всерьез думал, поэтому я был религиозным, причём так ортодоксально религиозным, канонически. Это была для меня Благая весть о том, что будет там.

Тогда, кстати, я перевёл, как мог, переложил, пересказал, как угодно, монолог Гамлета, перефразированный мною несколько иначе.

Существовать или не существовать –
 Вот для меня вопрос неразрешенный.
 Что было б благородно человеку -
 Сносить ли бич враждебной нам судьбы
 Или борьбой смирить событий море,
 Наперекор судьбе. В гробу уснуть
 И пыткой никакой себя не мучить.
 При этом также знать, что с этим сном
 Исчезнут несчастья и заботы – всё,
 Что живой всю жизнь свою несёт.
 Такой конец желал бы каждый в мире,
 Но вот вопрос: Какие же видения,
 Какие мысли и мечты предстанут пред нами,
 Лишь уйдём из мира мы –
 Вот где стена для плана исполнения.
 Вот почему живёт так долго горе.
 И правда - кто бы в жизни снес

Несчастья, бессилие всяких прав,
 Ярмо тиранов, насмешки гордецов, любви измену,
 Презрение к прекрасному презренных,
 Когда б один удар покой нам дал.
 На этот трепет жалкий пред решением
 Отправиться в страну, откуда путник назад
 Уж никогда не возвратится, смущает нас
 И в трусов обращает. И мы скорей миримся
 С горем тяжким, чем с тем,
 Чего не знаем мы за гробом.
 Так гаснет пламень сильной воли в нас,
 Едва мы начинаем размышления.
 Так крылья опускаются отважных,
 Склоняя прочь от цели их боязнь ее.

Ну, вот ясно по этим совсем неловким, по-детски неловким строчкам, что я всерьез задумывался, однако, о том, как быть с тем, что будет потом.

И вот Данте отвечал на этот вопрос для меня. Вергилий вел по тому миру, который предстоял. И я как-то всерьёз, но по-детски всерьёз, говорил себе, что это тот самый мир, в которой и я попаду, за чертой, которая когда-нибудь, но приблизится ко мне вплотную. Да всё по-детски, но всё было всерьёз, и я предчувствовал, что когда я сам пойду за моим Вергилием, за Данте, за Пушкиным, который тоже ведь интересовался этими мирами, когда я сам пойду, у меня всё будет немножко иначе. Но будет именно это, то же самое, но другое; другое, но то же самое. И вот здесь на этом противоречии и рождалась моя детская фантазия и даже фантастика, для которой я тогда не нашёл точных образов, не нашёл жанра, не нашёл стиля. Но это пришло несколько позднее. И в моей поэме «Данте» я попытался, наконец, воплотить то, о чем в детстве смутно мечтал и что смутно предчувствовал. Во всяком случае, я считал реального Данте, того, кто был в действительности, – счастливым, осчастливленным своей фантастикой, за которой скрывалась реальность того, что его ожидает.

В отличие от Данте Рабле был совсем другим. Он предлагал всмотреться в ту жизнь, которая окружает. То, что до роковой черты бытия. И пофантазировать здесь, не там, а здесь. И меня особенно и забавляла, и радовала вот такая возможность фантазировать, даже сопоставляя масштабы

человеческого, человеческой природы. Масштабы в сравнении великанов, живущих в утопии, и обыкновенных людей, которые жили рядом с ними, им служили, были им друзьями и вообще вполне были по-человечески приравнены к ним, но отличались масштабом. То один из героев Рабле во время дождя накрывал своим языком, высунутым изо рта, целую армию; а автор романа, который не мог спрятаться от ливня под языком, уже не хватало там места, забрался на этот язык и прошёл в глотку героя-великана. Ну, я не буду пересказывать, что он там увидел – там; и когда он возвращался и немножко заблудился в зубах великана, а потом, выйдя изо рта его, попал в густой лес, это были волосы героя. Там он немножко подзаработал тем, что спал. А потом вдруг, когда кончились эти фантастические блуждания, спрыгнул на землю и оказался перед самым великаном. Иными словами, то великан предстаёт в таком масштабе, то он сидит рядом, скажем с братом Жаном, обыкновенным человеком по масштабу. Сидит с ним за одним столом, пирует с ним, пирует духовно, веселится. Нет никакого противостояния масштабов. Гюстав Доре, который иллюстрировал и Данте, и Рабле, прекрасно показал эту разницу в своих рисунках и законченных масштабных гравюрах. Я думал о том, как можно было бы это всё воплотить кинематографически. Но было ясно, что нужны уж очень изощрённые съёмки, комбинированные съёмки; или, может быть, фантазия художника-мультипликатора, а мультипликация властна воссоздать любую фантазию. Она очень плохо работает сегодня для детей, потому что уподобляет свободную фантазию готовым предметам неживым и страшноватым, тогда как по-настоящему Рабле мог бы дать пример такой свободной фантазии.

Мне это было очень близко в отроческие годы. Я тогда не понимал, что фантастика Рабле и фантастика Данте ипостасны друг другу; и я есть тот читатель, в душе которого эта ипостасность осуществляется, ещё пока только в читательском моем опыте. И вот я уже прожил, казалось бы, целую жизнь. Вслед за Данте я попутешествовал. А вот соотнести масштабы человека у Данте и у Рабле я до сих пор так и не смог. Был занят другими проблемами, сугубо взрослыми. Нужно было защищать сначала одну диссертацию, потом другую. И только на уроках литературы и на лекциях в ВУЗе, где приходилось вспоминать и Данте, и Рабле, такая задача весело и свободно вновь вставала передо мной как нереализованная возможность. И вот сейчас, сегодня,

сегодняшним утром я особенно остро и живо ощущаю такую возможность. И то, что она до сих пор не воплощена. Уж коль скоро я взялся бы сейчас это воплощать, я бы ипостасно вернулся в отроческие годы свои же собственные. И не знаю, надо ли мне было бы забывать мой взрослый опыт. Опыт. Тем более, что забыть его невозможно, а может быть, и не надо было бы забывать. Фантазия рождается на любом фоне. Да вот мой Противоречащий, есть олицетворение реальности антифантастической. Реальности в полном смысле этого слова. Той реальности, которая запрещает фантазии, изгоняет её из души, из творчества. Вот этот неподвижный Противоречащий противостоит моим воспоминаниям. И две книги, которые лежат предо мной, «Гаргантюа и Пантагрюэль» и «Божественная комедия» с рисунками Доре – это то, что он, Противоречащий, прекрасно видит, но как бы не хочет к ним возвращаться. Он даже помнит свое и моё детство, но возвращаться не хочет. А я свободно могу вернуться. Как хорошо было то, что эти два учителя в искусстве встретились и как-то по-особому, не зная друг друга, соединились в моей душе.

Такое отрочество было воистину счастливым: оно было наивным по-детски, оно было по-взрослому очень серьезным. Я вспоминал уже возникавшие в моей памяти в этом разговоре с самим собой предсмертные слова Рабле, который сохранял весёлость даже в такие минуты приближения конца. Ну, это знаменитая его фраза: Я иду на поиски великого «быть может». Так мог бы сказать и Данте, потому что он различал веру и фантазию художника и налагал порою узду искусства на эту фантазию и даже веру свою. Так мог бы сказать Данте, но он так не говорил. И фантазия была для него способом увидеть загробную реальность, если так можно сказать. А Рабле говорил себе это всю жизнь. И поэтому занимался тем, что было здесь. А великое «быть может» отодвигал от себя весело, бесстрашно, мужественно. Душой гуманиста, который, будучи взрослым, умел по-детски шутить и играть возможностью свободы.

Вообще, кто из них был более свободен – Данте или Рабле? Порой кажется, что всё же Данте, который соединил в «Божественной комедии» реальный мир и загробный, насытил загробный мир не просто реалиями, но реальностью земного бытия. И вместе с тем смело, перед лицом Господа самого, перед ликом Беатриче, попытался проникнуть в мир этого великого

«быть может». И то, что для Франсуа Рабле было возможностью, предположением, для него стало высшей реальностью, которой он отчитался перед Богом. Может быть, и в самом деле Данте был свободнее. Кстати, соотношение масштабов есть в «Божественной комедии». И Доре прекрасно передал это в нескольких гравюрах к «Божественной комедии» к «Аду», где показаны эти гиганты – и рядом с ними в масштабе человеческом и Вергилий, и сам автор «Божественной комедии». Вот Антей спускает их в очередной круг ада, почти на самое дно. Громадный, но уместивший и Вергилия и Данте в своей ладони. Только в аду есть такое соотношение, но всё-таки не оно определяет те образы, которые царят и в аду, и в чистилище, и в раю. Там больше соотношение духа и тела с преобладанием духа.

Чем ближе к Богу, тем больше это преобладание. А человеческая форма, антропоморфность его образов, которая так мощно предстала в первой части «Божественной комедии», так пленительно и поэтично явила себя в чистилище, в раю постепенно начинает исчезать, преодолеваются символами духовной сущности. Но она восстанавливается в конечных проявлениях рая, в этой Небесной Розе. Беатриче сохраняет просветлённой изнутри земную красоту, проносит её через все сферы рая вместе с Данте, а потом занимает свое место в Небесной Розе, где человеческие формы душ, земные формы восстанавливаются. И Данте их видит. И главный вопрос, который его мучает, когда он встречается с самим Богом, это вопрос: Как соотносится духовная символика и человеческая форма? Как возможна вторая ипостась? Бог сын. После такого видения естественно его возвращение на землю, дабы он мог прожить вторую половину жизни. Да, чем я больше вдумываюсь, тем, вроде бы, больше осознаю, что Данте был наиболее свободен. И всё же он был скован, и это чувствуется. По крайней мере, я в детстве это чувствовал, и поэтому рядом всегда был раблезианский Гаргантюа, раблезианский Пантагрюэль. И мне было радостно соотносить этих двух гениев, чувствовать их ещё не состоявшуюся в мире ипостасность как некую задачу на будущее. Для меня самого. Найти некую несуществующую форму их взаимопереходности. И сейчас я, несмотря на всю свою скорбь, на весь ужас моего состояния, обрадован тем, что переживаю эту возможность как возможную реальность, как некое «быть может».

2 ноября 2019

Ещё несколько слов о Данте и Рабле, их соотношении. Тогда, в детстве, когда я впервые их читал, и сейчас. В «Божественной комедии» живым человеком был только один сам Данте. Всё остальное, что представало перед ним, это мир, где обитают души: бесчисленные души ничтожных – в преддверии ада, яркие великие памятные души грешников в аду, в чистилище – ожидающие спасения и идущие на муки души, и в раю – души, понемногу теряющие свою человеческую форму и возобновляющие ее в Небесной Розе. Но всё это души. Правда, несущие на себе печать человеческого, дозагробного существования. Правда, гиганты, пришедшие из античной мифологии, разумеется, как и Антей в аду, – ну, трудно сказать, что это души. Данте допустил, что вот именно здесь, прямо на подступах к девятому округу ада, обитают те гиганты, которые когда-то были низвергнуты Зевсом под землю. А в античной мифологии это были не души, а бессмертные – враги олимпийца. Но всё же, видимо, в системе образов «Божественной комедии» и гиганты, скованные – это тени тех, которые жили в античной мифологии, в античном сознании. А теперь в аду это некие символы бунтующих и роковым образом связанных сил. Почти предательских по отношению к божественной гармонии, установленной Зевсом. Но так или иначе Данте – один живой человек.

А у Рабле в его «Божественной комедии», в его «Гаргантюа и Пантагрюэле», вообще нет теней. И вообще нет душ, оторванных от того, душою чего они являются: от человеческого земного существа, от его тела. Когда утопийцы путешествуют к оракулу божественной бутылки, они встречают чудовищных, много чудовищных существ, теряющих человеческие формы. И Мистер Гастер, и кот Мурлыка на острове застенок, и мясные колбасы. Вот, и даже квинтэссенция – королева, у которой даже нет обычного для человека процесса пищеварения: ей пережевывают придворные шелковыми ртами пищу и потом прямо вливают её через золотую трубочку в желудок. Фонарная страна. К оракулу божественной бутылки провожает Пантагрюэля и его весёлую свиту, и Панурга фонарь – один из лучших фонарей, данных ему в проводники. И это всё введено в роман как отклонение от той нормы, которая воспета и так роскошно и так разномасштабно представлена в романе. И можно сказать, что, по-своему,

Рабле тоже скован человеческой формой. И свобода вымысла и фантазии проявляется вот именно в этой разнице масштабов. «Kelgrandtua» – какая большая у тебя – подразумеваемая глотку. Та же человеческая глотка, но большая, как у великана. Но та же человеческая. Таким образом, эта разномасштабность может быть объяснена на моём языке как ипостасность образов, земных форм человека. Нигде душа сама по себе не является, оставив тело, у Рабле. Это потрясающее свойство. Оно для меня в детстве восполняло Данте. Там ипостасью была душа. А здесь ипостасью – масштаб телесного проявления героев романа. Да, эта разница, необходимая мне тогда в детстве, которая уравнивала мой, счастливый тогда, детский дух. Она ипостасна тоже.

Как быть, если ты связан сугубо человеческой формой, её изучаешь. И даже этот гигантизм раблезианский. Это его особый, весёлый, карнавальный, да, конечно, карнавальный приём рассмотреть человеческую природу. Когда душа от тела не отделена или ещё не отделена. Рабле – медик, который впервые анатомировал труп – как медик. И вот это его желание разглядеть человеческую природу, состав человека, внутренние органы даже человека, все – и высокие и низкие, и то, что поверх пояса и то, что ниже – было мне в детстве очень близко. Я вспоминаю сейчас, что я интересовался анатомией. И у меня был первый том многотомной топографической анатомии некоего французского профессора Тью. Книга эта принадлежала отцу моему, он мне передал этот интерес к анатомии. Ему, художнику, она была нужна для тех же раблезианских целей изучения человеческой природы: внутреннего, явного и скрытого физического воплощения человека. А мне зачем? Но я чрезвычайно интересовался этим гравюрами, сопровождавшими текст. Перевод этого труда был посвящен Пирогову. Там были, действительно, очень красивые подробные рисунки, иногда цветные; кое-что выделялась синим и красным цветом и подробно описывалось всё то, что изображалось. Мне было интересно, что скрыто за оболочкой тела. Ничего не говорилось о душе. Такое рассмотрение обнаруживало, что есть некое связующее все – сила жизни. Можно назвать её душой, а можно даже обойтись без этого термина. Тем более, переводчик признавался в том, что ему впервые приходится на русском языке изобретать терминологию для такого топографического и анатомического рассмотрения внешнего и внутреннего человека.

Но вернусь к Рабле. Есть у него одна ключевая глава. Ну, весь роман как будто составляет читателя ожидать её появления, этой главы. Когда утопийцы плывут на своих кораблях к оракулу божественной бутылки. Однажды Пантагрюэль рассказывает притчу. О Тамусе. О том, как он был вызван неким голосом во время путешествия на корабле. И голос этот велел ему, Тамусу, объявить миру о том, что великий Бог Пан умер. Тамус сначала сомневается, нужно ли ему это делать, но потом убеждается, что это необходимо, и громко объявляет, стоя на корабле, о смерти Великого Пана. А Пан означает всё. Это олицетворение как раз живых природных начал бытия. Всего, оказывается, что несет в себе эти неразгаданные, непроанатомированные до конца начала. Он объявляет это. Раздаются рыдания. На том берегу, мимо которого они проплывали, весть распространяется. И в самом конце рассказа Пантагрюэль делится своей догадкой, что Пан умерший – это был Христос. Воистину, это всё, на что мы надеемся, пишет Рабле, во что верим, чем живём. И произошло это при Тиберию; как раз тогда, когда Христос после крестной муки отошёл от мира, воскреснув. Но о воскресении в этой главе у Рабле ничего не говорится.

Напротив, Пантагрюэль, закончив свой рассказ, проникновенный, погружающий в какую-то особую, почти молитвенную тишину, закончив этот свой рассказ, он плачет. Из глаз его скатываются громадные великаны слёзы, большие; каждая слезинка как страусово яйцо. И Рабле, по-моему, единственный раз на протяжении всего романа не сдерживает своего лирического, глубоко искреннего, порыва. Трудно перевести это место с французского, но оно приблизительно означает: «Я видел, как скатились эти громадные великаны слезы, покатались из глаз Пантагрюэля. Ну меня к Богу, если я хоть в одном слове соврал». Иными словами, если могут быть иные слова, Рабле удержался здесь на грани. На грани того мира, в котором душа и тело не могут быть оторваны друг от друга. И когда это совершилось с великим Паном, а на самом деле с Иисусом Христом, не радость о благой вести, а горькое, несказанно горькое чувство печали, боли; вот того чувства, когда глубочайшая загадка, мучающая тебя, не находит разрешения. Вот это чувство охватывает. Рабле как будто хочет сказать великому Пану: не уходи. Зачем ты ушел? И это он же переадресует Христу. Но, оказывается, не только Сократ был вдохновителем романа, как об этом сказано в начале, но и Христос. Тот раблезианский особый Христос, который не должен был

покидать землю, которого нельзя отрывать от земной природы бытия. От той роскошно богатой человеческими формами жизни, которые одну Рабле воспевал в своём романе. Вот почему слово, которое излетело из Божественной бутылки, «пейте, тринк», возвращает к плоти, возвращает к человеческой форме.

И как бы грустно для Веселовского утопийцы ни пьянели, в помещении, в подземном помещении оракула, при волшебнице Бакбюк, на самом деле это было трагически прекрасное возвращение к человеку. Пейте. Поэтому там говорится уже не о Христе, а о Боге, и произносится великолепная формула: о том, что Бог это окружность, вернее, не окружность; а это некое, трудно постигаемое, но геометрически измеряемое и вместе с тем неизмеримое; сущность – когда центр везде, а окружность нигде. Вот это и есть Бог – та сила, та мудрость, которую оракул завещает, советует пить – тринк! Это мудрость возврата в свою страну- утопию мимо всех страшных островов, о которых рассказано в романе. Мимо всех чудовищных отклонений от человеческой формы в той стране, где она торжествует, где она воплощена, где она рассмотрена как сквозь увеличительное стекло. И где она прекрасна в глазах медика, не только излечивающего человека, но и излечивающего себя самого правдой о великолепном творении, о человеке. «Тело есть высший разум», – сказал Ницше. Но этот афоризм кажется тусклым рядом с роскошным раблезианским призывом вернуться. Как будто самого Христа он зовёт к этому возвращению.

3 ноября 2019

Центр везде, а окружность нигде. Это Веселовский в своей статье о Рабле считал чьей-то добавкой к пятой книге «Пантагрюэля», которая, как многие допускают, не вполне написана Рабле. А уже после его смерти, с опорой на его бумаги, кем-то подготовлена к печати и довершена. Вот для Веселовского это бессмыслица. Совсем иначе Бахтин в своей книге о Рабле трактует это изречение волшебницы Бакбюк. А для меня – это раблезианская формула ипостасности. Да-да: центр везде, а окружность нигде. Это и есть формула божества, некая замена Небесной Розы в «Божественной комедии». Не то что замена, а противовес. У Данте Бог – на предельной отдаленности от земли. У Рабле – познание вот такого ипостасного Бога:

центр везде, а окружность нигде. В подземелье, в недрах земли, где вообще скрыта ещё недоступная людям мудрость, там некая вполне земная цивилизация. То, чего не умеют делать на поверхности земли, ещё пока не достигли знания и научного обоснованного опыта, то делается под землей. И там скрывается главная тайна. Так Бакбюк объясняет свою проповедь утопистам – Пантагрюэлю и его друзьям. Так вот, если, действительно, центр везде, это и означает некую своеобразную децентрацию, переход от одного центра к другому. И окончательной окружности нет, потому что окружностей много, из каждого центра, бесчисленное количество. У Данте три окружности видения Господа в эмпирее. И он вопрошает самого себя, как разрешить тайну второй окружности, сочетающей окружность с человеческими очертаниями. Бога сына. У Рабле таких окружностей бесчисленное количество; и все они, и земные, и небесные, и определяют окончательные. Таковой окружности вообще нет, если центр действительно везде.

Ну вот кажется, что я и здесь подтягиваю опыт классиков к своей формуле ипостасности. Вполне возможно. Это ведь разговор с самим собой. Я здесь могу допустить разные мнения, фантазии, предположения, но на серьезных путях. К самому себе. Вот к этому своему центру, который везде. И предназначен быть везде, а это значит – я пытаюсь найти такой способ. Боже мой, неужели я его нашёл? Сколько было у меня таких центров и окружностей. Они, эти окружности, были явно условны. Многие из них я просто забыл. Они – некая игра, некий условный символ, который вот, вроде бы, есть и, вроде бы, его нет, поскольку он тут же снят. При переносе центра. А как хорошо ощущать этот центр везде. Конечно, я отнюдь не достиг этого умения и этого знания и отнюдь не овладел этим способом переносить. Но во всяком случае, я понял, что это так. Много этих центров, было не просто много. Их было достаточное и необходимое количество, чтобы я принял и так истолковал раблезианскую формулу Бога. Для Рабле же это была не шутка, а вся его жизнь. А такая странная и условная форма, в которой он сказал о Боге, это итоговая шутка Рабле, которая должна была бы вызвать смех. И одновременно – такое мудрое открытие мира. Открытие мира для себя и для самого мира. Ибо сказать миру, что центр везде, – это значит принять этот мир. Честно говоря, в мировой литературе нет более противостоящих финалов, чем те, которые я прочитываю в «Божественной комедии» и в последней, пятой, книге «Пантагрюэля». Мне радостно их

соотносить. Мне радостно чувствовать их скрытую, не вполне осознанную, может быть, ипостасность, соединяющую небо, землю. Ибо преимущественный культ Земли, который, смеясь, проповедует Рабле, это тоже некая ограниченность, некая несвобода. У Данте есть, во всяком случае, подсказанный самим Господом, путь возвращения на землю. То есть путь соединения небесного и земного. У Рабле вот это шутовское обозначение «центр везде» – возврат и переход обретает совершенно неисчислимую, неизмеримую возможность соединения миров: небесного, земного, сверх галактического. Всего того, что входит вот в это особое соединение мудрости, которое обозначено в главе о Тамусе именем Пан. Все. И даже имена некоторых утопийцев явно соотносятся с Богом и с Христом. Его Пан это Христос, как определил его Пантагрюэль. Так вот само имя Пантагрюэль, Панург содержит в себе этот корень. Надо еще внимательнее присмотреться к другим персонажам, ибо каждый из них человеческий центр. Окружность – весь роман, весь смысл этого существования, этого бытия, этого путешествия. Жениться или не жениться Панургу это опять же шутовской вопрос, предвещающий гамлетовские сомнения, монологи и трагедии его жизни и смерти. Это вопрос о том, можно ли встретить женщину, которая не изменит, башмаков не износив, своему мужу, подлинному человеку. Жениться или не жениться, довериться или не довериться, обрести Беатриче или не обрести. Но ведь и у Данте Беатриче не была женою автора. Она была тем символом восхождения и вознесения к Богу, который есть способность переносить центр. А Панург хочет жениться. Грешный весёлый обаятельный, боящийся только опасности, Панург хочет счастья, встречи, соединения судеб. Того, в чем разуверился Гамлет, почему и спрашивал уже – не жениться или не жениться, а быть или не быть.

Да, вот так перекликаются лучшие произведения лучших, наиболее совершенно владеющих высшей мудростью гениев в литературе. То, что я сейчас говорю себе, я очень часто уже говорил и себе и другим, на лекциях, на уроках. По-моему, только не записывал ни разу и сейчас не записываю, произношу устно. Только вот невольно соотношу своё состояние нынешнее с тем, какое, возможно, переживал Рабле в конце жизни. Тем более, обстоятельства его конца не вполне ясны. Есть легенды. А как совершился его последний день? Данте я представляю себе. Он закончил «Божественную комедию», почти перед самой смертью. Он мог уйти, вообразив всё, что

возможно, о том, куда он уходит. Он имел полное поэтическое представление об этом. Рабле уходил искать великое «быть может», но это великое «быть может» потому и было великим, что оно было всем. И по-настоящему вместить это всё в финал романа, конечно, не удалось бы даже самому Рабле. А я вот пытаюсь соединить двух гениев. Так, как я, предчувствуя моё нынешнее состояние в детстве, уже пытался это сделать тогда. Да, жизнь была впереди, целая жизнь, но я уже тогда чувствовал возможность такого соединения, такого разговора между собою Данте и Рабле. Блок в «Скифах» сказал: «Нам внятно всё – и жар холодных цифр (быть может, речь идёт о Пифагоре, об античности), и мир таинственных видений – вот Данте. И дальше – и острый галльский смысл – Рабле? И сумрачный германский гений – Гете, Вагнер? Скорее, Вагнер, а по существу – Гете. Хотя «Фауст», вряд ли, так уж сумрачен. Но всё же это проявление германского гения. Как я был счастлив в детстве, соединяя вот это неисчислимо многоцентровое единство бытия, которое мне только приоткрывалось. И своё отрочество. А сейчас Противоречащий говорит мне о том, что всё это завершается. А я знаю, что это не так. Я верен своему отрочеству. Я пытаюсь и буду пытаться до последней минуты, буду пытаться свободно, в этом безоглядном просторе, переносить свой центр, уже из себя, в другого, другие миры, мир безгранично непознанного. Этот мир, который можно было бы обозначить и как Небесную Розу, и как великое «быть может», но я обозначаю это по-своему. Безграничная ипостасность бытия и небытия в их бытийном и небытийном, ипостасном единстве.

4 ноября 2019

У Данте, чтобы увидеть Бога, надо пройти половину жизни, потом пропутешествовать по аду, подняться на гору чистилища, вознестись в райские сферы, увидеть, наконец, в эмпирее Небесную Розу, состоящую из душ святых. По ним, как по лепесткам, пробраться взором в середину Розы, сомкнуть глаза с этой ослепительно сияющей точкой в центре Розы и различить там три ипостаси. Три круга, которые как-то совмещаются друг с другом, и второй круг, в котором проступают человеческие черты Бога сына. У Рабле, для того, чтобы увидеть Бога, нужно каждую точку бытия, любой Топос, понять и принять как центр. А потом самое недостижимое, казалось

бы, все центры вместе, т.е. всё земное бытие принять как центр. Единый центр, невидимой и не уследимой взором окружности. Она нигде. А это значит – нет никакой округлой границы, которая отделяет Бога от Божьего творения. Её нет именно потому, что всё творение, всё Божье творение есть окружность. Таким образом, геометрически, по-моему, доказано, что такое представление, раблезианское представление о Боге по-новому ипостасно, по-новому – при сопоставлении с дантовским финалом. Правда, у Данте есть ещё одна окружность, та, которая перемещает на землю и которая, как механизм колесный, равномерно движется. И сохраняя то же расстояние от Бога, от ослепительно сияющей точки, спокойно и ровно, божественно перемещает на землю. Сравнение с колесом удивительно, гениально, ипостасно. Движение колеса ровно, и вот как раз именно этим движением Господь проясняет неразрешимость квадратуры круга в понимании триединства. Разрешает эту неразрешимую, казалось бы, загадку соотношения круга и человеческой формы и перемещает это знание спокойно в земную сферу, на землю, для довершения жизни, для прохождения её второй половины.

Таким образом, между Данте и Рабле существует некая переходная, мудрая, особая божеская и человеческая воля. Божеская – потому что движение этого колесного механизма совершает Бог, человеческая – потому что всё совершается ради человека и его возвращения на землю и к самому себе. Да, по-моему, геометрически доказано то, что мироотношение Рабле, вполне земное, даже в самом финале подземное, ипостасно. Я уже не говорю о том, что погружение в глубь земли у Данте – это прохождение по аду. А в центре земли и мира – Люцифер, владыка зла, червь, который подточил земное яблоко. А у Рабле, как это заметил и прекрасно объяснил Бахтин, у Рабле центр земли и всё, что приближает к центру есть сокровищница тайн, божьих даров, то самое Всё, что есть Бог и что есть Христос. Как сказано об этом в легенде о Тамусе. Вот мне, кажется, сейчас всё ясно. Может быть, завтра будет уже не так ясно. А если придёт ко мне сегодня кто-то из учеников, а один из них, молодой поэт, придёт, опять мне тогда будет что-то не ясно, что-то загадочно. И опять я буду с настоящей, испытываемой сейчас верой молиться, чтобы мне, как дар, была дана возможность, вместе с этим равномерным колесом, вернуться к себе. Но пока мне всё ясно.

И мне так же всё было ясно в отрочестве, хотя я не пользовался там этой терминологией, и вначале читал «Гаргантюа и Пантагрюэля» в прекрасном пересказе Заболоцкого, где вот такие категории – триединство – не входили в его текст. Там говорилось об истинном знании, которое нужно уметь пить так, как мы пьем из божественной бутылки мудрость бытия, радость бытия, надежду бытия, любовь к жизни – всё то, что дает человеческой природе это божественное вино, этот особый напиток, которым угостила весёлых, радостных, счастливых, победно счастливых утопийцев волшебница Бакбюк. Заболоцкий не пользовался этой терминологией, ведь изложение романа было предназначено детям. И оно отвечало этой весёлой игре, радостной игре, полной надежд игре обэриутов с мудрой абсурдностью того, что мы называем «быть может», и того, что Рабле так называл. Это была очень большая удача, то, что Заболоцкий именно так изложил роман. И, конечно, это была невыносимая удача то, что книжка тогда, в отроческие годы и дни, попала мне в руки. Вот это ощущение, как зерно, было брошено мне в душу. И сейчас зерно проросло всеми этими религиозными, философскими, поэтическими понятиями, которые теперь, в том состоянии, в каком я пребываю, мне просто необходимы. Я без них не могу начать это новое очередное счастливое утро, в ожидании от себя того, что я что-то ещё более точно пойму. Может быть, найду ещё были точные слова и закреплю их в том тексте, который оставляю. А, может быть, унесу с собой за ту предстоящую мне черту, за которой уже нет второй половины жизни. Да, наверное, так оно и будет. И неужели мне выпадет счастье вновь ипостасного прихода в них, когда я каким-то чудом узнаю себя. Вновь себя найду, узнаю тот текст, который постараюсь сотворить сегодня, догадаюсь, что это мой же текст, и восстановлю то, что всё равно как предсознание живёт, будет жить во мне после этого вновь ипостасного моего прихода в мир. Так придёт каждый человек из тех, кто разделит моё верование. Хотя его не разделяет, по-моему, никто, и я не навязываю его никому, и пока я один счастлив этим сознанием. Но оно так часто уже высказывалось в лучших книгах мира, что, я думаю, в будущем не только я буду искать самого себя в буквальном смысле. Не то, как Твардовский сказал: найти себя в себе самом и не терять из виду. А вот в буквальном и, вместе с тем, сакральном смысле этих слов: найти себя в

новом вновь ипостасном приходе в мир. Как это хорошо! Как это спасительно для меня сегодня!

5 ноября 2019

У Данте путешествие по загробному миру заняло немного времени, условно. Даже странно подумать, что-то вроде около 24 часов. Можно проверить. Я сейчас на память. По сути дела, это только остановка времени, это даже не время. Осмотреть ад, чистилище, рай за такое время можно только условно, только остановив само время. Таким образом, для Данте ипостасность пространственна. Его знание, его откровение как бы останавливает бытие на середине и дает возможность осмотреться. Вергилий и Беатриче делают невозможное возможным. Вергилий. Античность. Античность пространственна. Вот почему мир греха – то, что доступно римскому поэту. Грех, предпочтенный блаженству, и грех, побеждаемый надеждой на это блаженство. Ад и чистилище. Но Беатриче, возносящая в сферы рая, тоже дает возможность быстро, мгновенно осматривать каждую из этих сфер, приближаясь к Богу. Не столько во времени, сколько душевным порывом, преодолевающим тяжесть тела. И тоже это кажется одним мгновением. Поэтому Данте не замечает почти перехода из одной сферы в другую. Он как будто замирает, смотрит на Беатриче, и через секунду они уже на другой планете. И музыка такого вознесения как будто не требует времени, даже того, которое читатель тратит на то, чтобы прочесть все 33 песни «Рая». У Рабле совсем иначе. Волшебница Бакбюк говорит о времени как о главном проявлении божественного начала. Время все скрытое открывает. Об этом сказано прямо в последней речи, обращенной к утопийцам в подземном храме оракула божественной бутылки. И вообще весь роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» подчинен времени. Будущее здесь предстаёт как надежда на то время, когда можно будет, научившись пить божественное знание, открывать сокрытые в недрах земли ...

6 ноября 2019

Вчера отказала техника, поэтому продолжу. Может быть, кое-что даже и повторю. Итак, чтобы увидеть триипостасное проявление Бога, приоткровение и даже откровение его человеческой душе, нужно было пройти Данте ад, чистилище, вознестись к небу, предельно отдалиться от земли и там, в центре Небесной Розы, увидеть это триипостасное единство. А у Рабле, чтобы постичь Бога надо было просто проездиться по земле, выехать на кораблях за пределы утопии, увидеть эти страшные острова, спуститься под землю и там оракул божественной бутылки подсказал, что надо делать. Надо было пить мудрость, высшее знание. И это высшее знание выразилось в словах волшебницы Бакбюк о том, что Бог – это когда центр везде, а окружность нигде. Центр везде – это и есть всё. Пан. Причём, Рабле к концу романа ощутил утрату этого всего. Пан умер, но как Пантагрюэль догадывался и предполагал, в этой легенде о Тамусе, Пан был Христом. Тем более, что и происходило это во времена Тиберия, когда произошла Голгофа. Бахтин догадывался, что Пан – это зерно, и Христос – тоже зерно. Оно должно умереть, чтобы дать новые зерна. Таким образом происходит воскресение Пана, который умер. Но слёзы Пантагрюэля величиной со страусовое яйцо говорят о чём-то другом. Данте обретает триипостасного Бога. И это триипостасное начало порождает в его душе, а он живой человек, оказавшийся так близко к Богу, так вот, это триипостасное божество, царящее в Эмпирее, порождает еще одну ипостасную окружность, перемещающую Данте на землю, соединяющую небо и землю. Это мы говорили. Иными словами, воскресение, причем, воскресение земное, человеческое, происходит. У Рабле это происходит тоже, но так по-особому, что кажется, что ничего не произошло. Если центр везде, то тогда получается, что всё бытие есть этот центр. И в нем, этом бытии, не только в подземном царстве тайн и возможностей, но и в наземном богатстве проявлений нужно искать Бога, это самое Всё. Умершего Пана. И получается, что он оживает в этом Всём, которое осталось, несмотря на то, что он умер. Тогда и получается, что каждая из точек этого бытия, каждое из мгновений его – это и есть центр. И центры эти воистину ипостасны друг другу, если и то, и другое, и третье, и всё – есть центр. Каждое из проявлений этого всего – ипостась другого такого же проявления. Пантагрюэль – центр, Панург –

центр. Брат Жан, Гимнаст, Евдемон, Панократ, учитель Гаргантюа – все утопийцы есть этот центр.

А как быть с проявлениями зла, со всеми этими страшными островами, мимо которых утопийцы проезжали к оракулу? Ну, допустим, с тем же островом Звонким, где вместо людей живут птицы? И птицы эти носят знаки отличия и знаки должности, которые они занимают? Наподобие тех должностей, которыми выстроена католическая церковь. Там есть и Папего, там есть и Карденги, там всё, как у людей, но это уже не человеческое проявление. Есть что-то не только смешное, но и страшное в жизни этих птиц. Что, это тоже центр? Нет. Но коль скоро там побывали утопийцы, и остров Звонкий стал центром. Так или иначе, в отроческие годы, когда я читал «Гаргантюа и Пантагрюэля», перечитывал его много раз, без всех этих слов и обозначений, без философских формулировок, без религиозных символов как сейчас, я чувствовал то, что переживаю ныне, ипостасно соотнося Данте и Рабле. Вот таким образом я был счастлив в отрочестве. А теперь с глаз моих катятся слёзы величиной со страусово яйцо. Каждый из утопийцев знал о своём конце, в каждом из них умирал великий Пан, и в каждом из них жила на него надежда и жила высокая вера в него. И жило то особое волевое начало, присущее человеческой природе – как смех, как страдание, как эта неисчерпаемая жажда знания, как это ощущение всего; присущее желание, чтобы Пан вернулся, чтобы он вновь, обновляя земное бытие, стал центром всего. То есть, чтобы родились в другой ипостаси и Панург, и Пантагрюэль, и Гимнаст, и Панократ, и сам Рабле. Это для меня было ясно, хотя и в других терминах. И это ясно мне сейчас, когда, ради того, чтобы по-настоящему сделать глоток из Божественной Бутылки, завещанный Рабле, я задумал это путешествие по моей жизни, начиная от самых ранних, еще довоенных воспоминаний и до той минуты, которую сейчас переживаю за этим круглым столом.

Вчера я попытался работать на компьютере, и появилось несколько строк, несколько стихотворных строк. 12, это уже кое-что. И я записал это, и они ждут продолжения. И это несмотря на мучительные попытки преодолеть мое уходящее зрение, то, каким оно стало сейчас, дабы вернуть то, каким оно было. Это было вчера. Вчера были у меня и гости – молодой поэт, который часто ко мне приходит, читает свои стихи, выслушивает мои пожелания и как будто чувствует потребность наших встреч, в наших

встречах. Я тоже чувствую это. Перед ним ещё целая жизнь. Его молодая жена тоже рядом с ним, была моей гостьей. Я желаю им великолепной ипостасной жизни. И сам оживал вчера по-новому и как будто так же четко и ясно видел их лица, как если бы это случилось со мною прежде, когда зрение от меня ещё не уходило. А сейчас я каким-то чудом или предчувствием чуда велю себе, чтобы оно явилось. Может быть, придётся родиться, быть ещё раз зачатым. Но уже мои вчерашние гости были тем ипостасным проявлением меня самого, какое, может быть, будет после меня. Хорошо. Я думаю, что я сегодня ещё вернусь к этому чувству и продолжу мою утреннюю мантру.

«Гаргантюа и Пантагрюэль» – прекрасный цветок, поднявшийся из недр земли во второй половине жизни, на второй половине жизненного пути, жизненной дороги. Вергилий в этой книге Сократ. А Бог – прекрасное всё. Христос. И вот я вижу себя самого. Исчез мой нынешний кабинет и библиотека, которая окружает меня. И всё равно, несмотря на мое уходящее зрение, будет мне доступна. И не только в памяти. А каким-то чудом я буду видеть страницы. Всё это исчезает, я вижу себя в нашей старой квартире, вот, сидящего на отцовской солдатской кровати. С книгой на коленях, а в левой руке, в левой, которой я не прикасаюсь к книге, пирожок с мясом. Мне кажется, я отдал бы многое за то, чтобы опять этот твердый тёмный, но вкусный пирожок опять появился бы у меня в пальцах и напомнил бы мне тот самый ушедший навсегда вкус, с которым я, наслаждаясь, перечитывал эту прекрасную книгу, эту божественную комедию земного бытия. Того бытия, которое дожило до человеческой смерти, но пока ещё живо и досталось мне как счастье отрочества.

7 ноября 2019

Ипостасное погружение – наиболее загадочное свойство сознания. По-своему я это чувствовал в те же самые отроческие годы. Ведь что получалось? Я встречался напрямую, лицом к лицу, с сознанием, которое себя уже вроде бы и не осознаёт. Хотя это сознание самых любимых мною поэтов, людей. А рядом жило сознание, пока еще вполне себя сознающее, мой отец. Он тогда и не думал ещё о смерти. Правда, он довольно часто вглядывался в свое отражение, держа зеркало перед собою. Очень много портретов. И не случайно он вглядывался в себя, погружался. Иногда, видя

своё отражение, произносил в полголоса: «Боже мой, какой я старый». А он ещё не был таким старым, как я сейчас. Но это было живое сознание, а я беседовал с тем, что было сотворено другими, уже не со знающими себя. Вот сейчас я мог бы сказать и говорю о том, что бытие и небытие тоже ипостасны: они тождественны, они противостоят друг другу, и они взаимопереходны. Но эта взаимопереходность – как некий исход тождественности и противопоставленности. Эту взаимопереходность я ощущал, погружаясь сам, только я.

Какая же это взаимопереходность? Что от меня переходило к моим любимым Данте, Рабле, Руставели, Гомеру, с которым я как раз тогда впервые познакомился? Отец принес из читального зала библиотеки «Илиаду», и я впервые вчитывался в неё и даже переписывал текст первой песни в мою общую тетрадь. Что я им в этом взаимопереходном соприкосновении отдавал и мог отдать? А тем не менее, я чувствовал, что небытие тоже что-то осознаёт. У Сартра целая книга – бытие и ничто. Но и это самое ничто тоже несет в себе некое сознание. И я должен как-то, погружаясь, готовиться к тому, чтобы перейти в это сознание, ибо оно мне предстоит. Не стоит сейчас успокаивать себя, что тогда, в отрочестве, я только философствовал и по-настоящему не переживал то, что переживаю сейчас. Это не так.

Я знал, что меня называли Германом так же, как моего погибшего брата, которого я никогда не видел. Об этом я писал. У меня целая повесть «Самосожжение», где брат мой приходит ко мне и помогает мне сжечь мои черновики, чтобы обновить себя и писать по-новому, вырвав себя из тех, диктующих таких, стереотипов времени. Да, я это знал и чувствовал в себе брата, и об этом тоже уже приходилось писать. Это было и наяву, и в моих пугающих снах, и до войны. Это, кстати, воспоминания, в которые тоже стоило бы погрузиться. И в страшную блокадную зиму я что-то по-детски и по-серьёзному, по-взрослому, чувствовал, когда видел то, что творилось. Так что было, во что погружаться. И это была не просто выдумка и детские фобии, страхи. Это было некое живое ощущение ускользающей от меня тайны, которую мне еще предстоит, по возможности, раскрывать для себя.

Но те, кого Пушкин называл живыми мертвецами, имея в виду авторов, тех, кого он читал в отроческие годы в лицее, живые разговоры с этими якобы мертвецами, которые уже не осознают себя, но отдают своё сознание

и отдали тому, кто читает. Вот эти живые для меня были живыми. И Рабле и Данте, и Гомер, и Руставели, и, конечно, Пушкин, мой учитель и мой Вергилий. Очень просто закрыть этот вопрос. Сон, в котором ты забываешь себя и только как-то смутно, поскольку ты есть, осознаешь себя в этих ночных видениях, очень ясно даёт тебе понять, что такое несознающее небытие. Вместе с тем, конечно, это представление весьма условно, поскольку какая-то часть тебя осознает себя в этом сонном небытии, в этом отключении сознания. И легко представить себе, что будет, когда не будет тебя. И сейчас, вот этим летом ушедшим, когда зрение стало меркнуть и уходить, я, помимо всяких философствований, просто всем существом своим ощутил ужас этого неминуемого для меня состояния. Я даже не мог осознать это, не мог совершить то погружение, которое сейчас мне предстоит, но я уже побывал Там. И память о том, как я Там побывал, мне уже приходилось об этом говорить самому себе, память эту я вынес оттуда. Сейчас ее печать лежит на всём моём сознании.

Когда я говорю с самим собою, когда говорю с теми, кто ко мне приходит в гости, я вижу сквозь эту белесую пелену, как они всматриваются в моё лицо и ловят признаки этого моего особого состояния, ловят на мне то, чего раньше не было, что я оттуда вынес. Я уже говорил себе о том, что страшнее этого ничего быть не может, ибо именно в таком погружении, невольном погружении, я осознаю и переживаю всё самое страшное, что только случалось с людьми. И это сознание, это погружение настолько невыносимо, что хочется поскорее его кончить, прервать и уйти из этого мира бытия в ничто. У Достоевского есть, когда он описывает чувства приговоренного к смерти и говорит (я сейчас точно не воспроизведу), ну вот, говорит о том, что он настолько осознавал ужас этого предведения небытия, что хотел, чтобы оно скорее взяло его. Но у приговоренного к смерти это было состоянием нескольких минут, а у меня уже несколько месяцев непрерывного погружения в то, что не может быть ипостасным и ответно ипостасным. А я чувствую, что это не так, что именно здесь, в этом соотношении и этой встрече бытия и небытия, именно здесь, при бесконечно глубоком погружении в это состояние можно обнаруживать и разгадывать тайну, самую страшную, данную человеку тайну. И не только можно разгадывать, но можно и разгадать.

Тут очередное утро. У меня теперь эти пробуждения – на грани величайшей радости и страшного, небытийного, безответного самопогружения. И то и другое – встречаются, смотрятся в лицо друг другу, подтверждают ужасы этого непрекращающегося сознания. Только в нём понимаешь, что такое смерть другого человека, ещё не постигая тебя. Но уже заранее приоткрывшая ту бездну, в которую ты шагнешь. Что такое гибель сына? Что такое смерть – страшная смерть отца, брата, матери? Да и тех моих любимых – создателей миров, в которые я погружаюсь. Творческих миров. Противоречащий, который вот опять появился и сидит напротив, внушает мне, что все эти миры это и есть небытие. Они тебе дают все, но они – след творческого сознания тех, кто ушел, и ты им, ставшим небытием, уже ничего не сможешь сказать и ответить. Ты только можешь что-то сделать такое, что кто-то другой, если он будет способен исповедовать веру в ипостасность и будет совершать эти погружения, только им, кому-то, кто таким будет после тебя, ты можешь отдать свой мир. Но они тебе уже не ответят или могут ответить лишь в твоём воображении. Таким образом, вся библиотека твоя, которую ты собирал всю жизнь, где собраны, по возможности, лучшие книги, которыми ты мечтал скрасить свои последние дни, свободно погружаться в них и незаметно с ними расставаться. Всё это небытие. Это бытие только для тебя. Но не для них, создавших всё это и ушедших. И, кажется, тут Противоречащий полностью прав. Он чувствует себя правым, это выражено в его лице. А я сквозь белесую свою пелену, вглядываясь в это полупризрачное лицо, как когда-то отец вглядывался в своё отражение в зеркале с тем, чтобы углем на листе ватмана или этой особой серой бумаги сделать очередной свой автопортрет, вот так же, как он в своё отражение, я вглядываюсь в это лицо. И чем больше погружаюсь в него и вглядываюсь, тем больше нахожу сходство между ним и собой. Каким я себя помню, знаю и могу увидеть в зеркале. Чем больше я в него всматриваюсь, тем яснее и точнее это сходство. Сейчас оно достигнет предела, и Противоречащий исчезнет.

А вместе с ним исчезнет его возражение, его правота. И опять передо мной встанет нераскрытая, но ожидающая меня тайна. Тайна ипостасности бытия и небытия. «Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?» Это в переводе Пастернака «Гамлет». Ему это было неясно, он противоречил самому себе. Трагедия его в том и состояла, что он

был самому себе противоречащим. А разрешение этой трагедии в том, чтобы Противоречащий исчез. И он исчез в последнем акте, когда Гамлет, наконец, стал действовать. Он стал действовать. А мне открывается возможность тоже этого последнего акта. Да, Противоречащий исчез, и какой-то совершенно другой голос мне подсказывает, что сознание небытия ответно. Но оно совсем особое, оно тождественно с моим сознанием, оно противостоит ему, является его отрицанием, но оно и взаимно переходно всё же. И это большое заблуждение признавать ничто несознающим. Оно по-своему, недоступно для нашего понимания, тоже осознаёт и отдаёт нам не только следы своего бытия когда-то, того состояния, из которого оно, небытие, возникло. А то отдаёт, что осознает сейчас. Если разгадать эту тайну, не боясь никакого умопомрачения, безумия на этом пути, а твердо держась веры в ипостасность, можно будет сделать некое важное для меня открытие, которое увенчает мою ненаписанную повесть. Ту повесть, которую, оказывается, я пишу все эти дни, разговаривая сам с собой. Это будет финал, который откроет совершенно новую возможность. Но эта возможность будет погружением в такое знание, м.б. предзнание, предсознание или постсознание, в такое начало всех начал, что по сравнению с ним весь мир, который я оставляю, кажется каким-то детством, каким-то счастливым отрочеством. А это сознание небытия предощущается как зрелость, мудрость. Не боюсь ничего этого, смотрю в лицо этой тайне. И с этим знанием возвращаясь в мир, встречая гостей, встречая людей, близких мне, и беседуя с теми, кто уже не может, казалось бы, мне ответить, я слышу ответы всех. И к своему удивлению, не испытывая страха перед этим, я обнаруживаю в себе такие силы, которых раньше не знал.

8 ноября 2019

Противоречащий исчез, а правда его осталась. Вот она, в воздухе, в тёмном воздухе моего кабинета. И сквозь эту прозрачное облако я вижу корешки книг, как всегда, этюды моего отца на стенах. И как будто всё это лишь подтверждает правду исчезнувшего Противоречащего, исчезнувшего врага. И так будет всегда. Если исчезает настоящая, подлинная вера в ипостасность всего сущего, если и бытие не является ипостасью, а предстаёт каким-то образом само по себе, то, разумеется, ни о чём таком, что кровно

роднит небытие с бытием, не останется. Будет чёрная и отнюдь не прозрачная пустота. То, чего желал Мефистофель в гетевском «Фаусте». Ему нужно было разрушить все предметы, все тела, чтобы свет за них не цеплялся и не исчезал в бесконечности. Много-много раз я уже возвращался к этому образу в моем разговоре с самим собой. Если только небытие само по себе, и, больше того, небытие есть некое естественное, изначальное и конечное проявление, то тогда, разумеется, ни о каком сознании небытия, особом, небытийном сознании, не может идти речь. И так всё логично.

И весь мир превращается в бесконечный, неуловимый, необъяснимый и тем пугающий абсурд. И вместе с тем, и человеческая душа, как ее представляют верующие, – ортодоксально, традиционно, догматически верующие, сама душа в таком случае не является ипостасью. Если только это не проявление Бога: Бог отец, Бог Дух Святой, Бог сын. Я поставил его в этом перечне на третье место, потому что на первом месте он, конечно, быть не может. Сын должен иметь отца. Ну а что касается духа, то споры об этом шли и идут: от кого дух – от отца или от отца и сына, или только от сына? В Библии сказано прямо: Дух Божий носился над водою, тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Значит, сам Бог предстаёт как некий дух. Но тот ли это Бог Дух Святой? Споры идут. Для меня они не существенны, поскольку ипостасность присуща всему бытию и всему небытию. И тогда она должна иметь нечто родственное с тем, что являет, открывает нам человеческое проявление триединства. Но вообразить это небытийное сознание почти невозможно. Оно другое, чем наше, и то же самое. Оно тождественно с нашим, оно ему противостоит, и его связывает с нашим взаимопереходность. Только так можно объяснить творение и происхождение бытия. Вообразить это почти невозможно. И тем не менее, здесь путь к тому, чтобы было открыто, было явлено то, что несет в себе воистину благую весть о бытии. Небытие это не та пустота, которую вообразил Противоречащий. В нём есть всё, кроме бытия. И мысль, и сознание небытия несут в себе эту возможность бытия. Больше того, они к себе самому применяют самый принцип небытия – отрицание бытия. И таким образом небытие, отрицая самоё себя, становится бытием.

Противоречащий исчез, но он как будто шепчет, что это мое размышление – один из софизмов, преодолев который, я вернусь к подлинной вере. А всё моё существо говорит о другом. Противоречащий и

есть проявление небытия в бытии. Он исчез, но правда его должна остаться. И правда эта должна сама себя отрицать, сама преодолевать себя. Так что же получается? То, перед чем я сейчас останавливаюсь, та черта, та прозрачная стена, за которую я должен проникнуть, которую я должен пройти, вот эта самая граница между бытием и небытием, не обещает никаких миров или обещает всё? Раблезианское всё, которое « быть может», которое скрыто от поверхностного сознания. И как земные недра обещает новые и новые проявления и чудеса. Верить в это значит становиться ребенком, который способен в такое поверить. А Христос в Евангелии и от Матфея, и от Марка, в знаменитом эпизоде со смоковницей говорит ученикам о подлинной вере. «Будете её иметь, – сказал Христос, – и сможете не только иссушить смоковницу, но и сдвинуть гору». А если соедините эту веру с молитвой, то есть если будете сами ипостасью, сыновним началом в триединстве всего сущего и того, что может стать сущим, если будете иметь такую веру, то получите всё. И сможете, и получите всё. Сможете, и таким образом уподобитесь Богу сыну. Получите, когда сыновнее начало будет определяющим для вас. Бог может всё. Сын может получить в молитве о чаше, в молении о чаше всё, но он же может сдвинуть гору и иссушить смоковницу. И поэтому он не только сын, но и дух, и отец.

Человеку предназначено быть и тем, и другим, и третьим. Он, действительно, может, несёт в себе начало жизни. Он может очень многое. Так в Евангелии сказано: вы тогда, если будете иметь веру, веру в ипостасность, сказал бы я, то тогда вы всё сможете. Но это должна быть подлинная вера. Не во что-нибудь, а именно в то, во что нужно верить, предназначено верить. Будете верить, всё сможете. Будете при этом помнить, что вы не только неипостасный Бог отец или подобный ему, а Бог сын, и тогда ваш дух не будет заблуждаться. И вы в молитве получите всё, и сможете, и получите. Да, это удивительно. Я уже сколько раз повторяю себе эту молитву, это откровение для меня самого, сколько раз испытываю это холодом и прозрачным мраком глаз Противоречащего. И вот, думается, я приближаюсь к той черте, когда ненаписанная повесть будет закончена. Закончена сыновним утверждением всемогущества человека, который, именно как ипостась, сможет всё. Сможет сдвинуть гору. Да, такого рода размышления бесконечны. Хотя они, вроде, повторяют себя, но каждый раз я почему-то чувствую нечто совсем особенное, то, что не переживал во всю

мою жизнь. Что-то не пережитое открывается мне. И тут уже не имеет значения вопрос, боюсь я или нет этого ипостасного перехода. Тут действуют какие-то совсем другие начала, категории. И они до предела волнуют, мучают и приносят радость, несут в себе моё достижимое, последнее моё счастье.

Сознание небытия это ипостасное соотношение пост- и предсознания. Может быть, действительно это так? О такой встрече, о таком ипостасном соотношении пост- и предсознания ещё не писали. И, кажется, невозможно писать об этом. Как только представишь себе эту встречу, это соотношение, так сразу хочется вновь быть зачатым, вновь родиться, чтобы вновь сопровождали тебя надсознание, подсознание и чтобы, в сущности, само сознание стало самим собой и таким образом родилось.

Трудно, невозможно об этом писать, но придётся. Потому что если сейчас вот так пробежать заново все страницы уже написанного, то именно этого не хватает. Есть начало жизни и почти начало – повесть «Киргизия», есть счастливое отрочество – «Климовщина». Есть страшное переживание, ипостасное претворение, пресуществление в сознании сына Миши – повесть «Один». Есть попытка вернуться оттуда, сыновняя любовь, которая оттуда возвращает назад – «Стерх». Есть почти невозможное – попытка проникнуть собственно в творчество небытия – рассказ о том, как оно пробовало. Проба небытия. Повесть так и называется «Ипостась». Есть, казалось бы, завершающее, как в Библии, ясновидение – повесть «Апокалипсис», где всё повествование идет от имени Миши. Только его голос звучит. Это тоже попытка проникнуть в эти миры. И есть повести, где живут другие люди, где не моё сознание, а сознание рождённое, сознание других, обнаруживает свою ипостасность с моим и с Мишиным. Это повести «Поединок», «Исповедь», «Правитель», «Политик», «Трое». Вместе они составляют некое целое, мою «Божественную комедию», и связуются поэмами; многими, среди которых поэма о гибели Миши – в самом сердце, в самом центре этого единого, надеюсь, ипостасного целого.

Это я говорю только себе самому, пусть никто не услышит эти мои слова. И сам я говорю это себе лишь затем, чтобы усомниться в этом и вновь, от предельного конца, вернуться к предельному началу и таким образом по возможности разгадать, что же такое это ипостасное сознание небытия, творящее бытие. Такое сознание не может без бытия, не может без

сотворения. А каждый раз будет твориться нечто новое, ипостасно родственное тому, что уже было. И вот вообразить всё это богатство, всё это необозримое, неохватное соотношение небытия и бытия мне ещё предстоит. В поэмах это отчасти намечено. Такие поэмы как «Перед рождением», «Белокаменка», «Ящера», «Коран», «Рождество», «Чаша», «Экклезиаст». Я ещё не всё перечислил. Надо сначала попытаться сложить все эти попытки в некое единое неразрывное целое. И всё равно, как ни складывай это, как ни переживай заново, будешь переживать нечто новое. И собственно сознание небытия, благая весть о котором по-настоящему может принести счастье; и это будет не последнее счастье, это неверное выражение. Оно искренно, это выражение «последнее счастье», но оно неверно, его надо преодолеть – вот этой встречей предсознания, постсознания, порождающей сознание как таковое, которое Толстой недаром и называл настоящей жизнью. «Настоящая жизнь есть её сознание». И вот я попытаюсь всё-таки сделать еще один шаг. И то, что прояснится, и то, что заполнит душу, и то, что по-новому вернет невозвратное, сделает возможным невозможное, осуществит несбывшееся. Вот это всё будет хоть как-то уловлено моим сыновним земным человеческим словом.

Вновь вижу себя в той, нашей старой квартире, в малой комнате, сидящим на солдатской отцовской кровати. На коленях у меня книга, в левой руке пирожка уже нет. Вот я сижу над раскрытым «Гаргантюа», над раскрытым «Пантагрюэлем». И тут ещё и еще раз невыносимая мысль – отца уже нет в живых. А вот он я. На его месте. Где-то в повести «Самосожжение» у меня описано утро, где есть мгновение, которое сродни тому, что я вижу сейчас. И вот некий голос говорит мне: «А всё же Противоречащий прав». И тут уже не только он, но и Лев Толстой противоречит. Он убеждал себя в том, что сознание жизни непрерывно. Хотя оно прерывается, вроде бы, сном, но и там живёт какое-то особое сознание. Об этом писал и Державин в оде «Бессмертие души». Но вот после того, что произошло с Андреем Болконским, наступает то, что позднее Толстой определил как непрерывность истинного сознания жизни. В «Войне и мире», правда, всё немножко не так ещё. Там смертельно раненый князь Андрей Болконский вдруг переживает начало перехода, начало смертного перехода. Наташа почувствовала, что с ним произошло «это»: вдруг всё то, что окружало его – и люди, и она сама – всё это как-то отдалилось от него сразу. И наоборот,

присутствие Наташи и то чувство, которое стало жить в душе князя Андрея, опять возвращало его в этот мир. И нужно было что-то сделать, чтобы преодолеть этот возврат, ибо князь Андрей предназначен был к тому, чтобы постичь то, что он должен был постичь. И уже не в этом мире, а в том, от которого отделяло его «это». И вот сон его и вдруг – как озарение. Когда он проснулся, казалось, уже умерев, и он не смог удержать дверь, в которую какая-то сила пыталась проникнуть. Он умер и проснулся. И тут же стало ясно, что смерть – пробуждение от жизни. А потом Наташа спрашивала об уже ушедшем князе Андрее, где он теперь. Здесь еще нет того, что будет у Толстого в «Книге о жизни»: я всегда был и всегда буду. Там как будто бы живет мысль о непрерывности сознания жизни. Раз оно вне времени, вне пространства; раз оно, по существу, всё время в том мире, который открывает «это», отделяя сознание жизни от условий места и пространства. Вот если оно не зависит от этих условий, то оно непрерывно. Никакой сон, никакое забытие не может его прервать. И вот сейчас сам Лев Толстой, который противоречит мне, говорит мне о том, что да, ты никогда не встретишься с сознанием небытия. Потому что для того, чтобы встретиться с ним, ты должен быть. Тогда оно будет ипостасно с тобою. Твое небытие с твоим бытием. А если тебя нет, то и такой ипостасности не будет. Это говорит Лев Толстой мне, мой Лев Толстой, который пришёл ко мне значительно позднее, после Рабле и после Данте.

Но вот твоя ипостась появляется, и тогда сразу же, мгновенно возникает сознание этой ипостаси. То, что ипостасно предшествующему сознанию, и это без перерыва для тебя. Тебе кажется – без перерыва. Хотя между этими двумя ипостасями, сознающими себя, могут протечь века или дни, или годы. Но это как сон без снов. И вот ты просыпаешься, просыпаешься в другой ипостаси, не помнящий ничего предшествующего. И вот какие-то смутные интуитивные ощущения того, что та ипостась была. И вот ты сейчас встречаешься с какими-то следами её присутствия в прошлом. Только это осознанно связывает две ипостаси. А неосознанно – подсознанием, предсознанием, постсознанием – всё остальное. Только эти виды сознания связуют в одно единое и непрерывное целое. Но для ясно сознающего себя твоего «я» нет перерыва. Хотя оно ипостасно не равно самому себе. Хотя оно, казалось бы, перешло в совсем другое – это в пространстве; или начало себя с младенчества – это во времени. И тем не

менее, как бы мне ни возражал Противоречащий, тот или иной, я всё же допускаю, что небытие обладает своим особым, непостижимым для меня сознанием. Собственно говоря, это создание и есть творящее божество, творящий Бог, Бог отец, Дух над бездною – можно по-разному назвать эту силу и эту непререкаемую для меня реальность.

Ну и потом, я забыл, перечисляя свои поэмы, две самые большие и, может быть, самые главные в этом ряду. Это поэма «Данте», моя поэма «Данте», которую уже приходилось вспоминать, и прямо примыкающая к ней поэма «Россия». Но об этом чуть погодя.

9 ноября 2019

Жизнь одной ипостаси ограничена во времени и безгранична в пространстве. В пространстве она ограничена только возможностями самой ипостаси и, опять же, временем, поскольку безграничное в пространстве потребует времени для того, чтобы быть воспринятым, охваченным. Но и в принципе оно нехватно, это пространственное, именно из-за временных ограничений ипостаси. Но во всяком случае, то, что во времени произойдет после того, как жизнь отдельной ипостаси оборвется, то, что после этого будет – то дано в пространственном мире, который ипостась может уже сейчас, до своего конца, видеть, принимать или не принимать, пресуществляться или лишь созерцать, погрузившись в себя. Так всё устроено. И насколько сейчас ты можешь перейти в другое человеческое «я», побыть в нём и потом вернуться к себе, насколько это возможно для тебя сейчас, в пространственном мире и на том временном отрезке, который тебе выделен природой, насколько ты это можешь, – настолько ты можешь свершить и во времени переход, из себя, из своей ипостаси, в другую ипостась, которая будет после тебя. Кто знает, может быть, если ты научишься это делать сейчас, то тебе откроется то, что будет после тебя. Потом. Да, удивительно. Много, очень много открыто сознанию. И, вместе с тем, сознание ипостасно безгранично, ипостасно ограничено. А время и пространство, оказывается, связаны всё равно. Эту реальность можно будет когда-либо преодолеть? Для того, чтобы и во времени, и в пространстве расширить возможности ипостаси. Это вопрос, который практически, вроде бы, предопределен решиться отрицательно. Такой возможности не будет.

Противоречащий, во всяком случае, мне бы это сказал, если бы он был рядом со мной. Но вообще, если исходить из сознания по Толстому, чувствующего себя вне времени и пространства («Я всегда был и всегда буду»), если исходить из этого присущего сознанию чувства, то тогда чудо возможно. Возможно самое невозможное. И неужели вера – это есть вера в такое чудо? Да, это так. Поскольку сознание, при всем том, что оно проявляется во времени и в пространстве, вне этих условий (таким оно себя сознает) постольку оно может, становясь деянием, становясь силой преодоления, такое чудо осуществить. И вера в это, сегодня мне кажется, единственная, самая радостная и верная действительность, вера. Верование в это одно только может утолить духовную жажду, горечь предчувствия, силу воображения. То есть всё то, без чего сознание не может быть собою. И когда оно обретает веру в такую возможность себя самого, оно радостно и победительно.

Вчера я прервал свой разговор с собою тем, что вспомнил, что в перечне того, что написано уже, я не упомянул свою большую поэму «Данте», большую поэму «Россия» и ещё одну большую поэму «Преодоление». И то, и другое, и третье связаны не столько сюжетно, сколько вот родственностью тех стихотворений, которые входят в эти стихотворные циклы. Циклы, которые я называю поэмами. Впрочем, в поэме «Данте» есть сюжет. Он варьирует сюжет «Божественной комедии», совершенно по-своему интерпретируя его, этот сюжет, перенося его в сегодняшнюю современность. Живой мост между временем Алигьери и сегодняшним днем.

Поэма «Россия» тоже отчасти сюжетна. Там условный метафорический сюжет заключается в том, что бытие себя исчерпало, но Господь дал ещё две недели постбытию. Тому времени, двухнедельному времени, за которое можно было бы что-то поправить, что-то изменить в ушедшем бытии. Мотив этот уже был у Достоевского в рассказе «Бобок». Там действие (действие!) происходит на кладбище, и вот уже умершим, похороненным дана некая возможность, фантастическая. Разговаривая друг с другом, от могилы к могиле, вы могли хоть как-то восполнить своё земное и ушедшее сознание. И тем, может быть, загробно, но оправдаться перед Богом. Но они говорят на прежнем языке. Мертвецы ни себя, ни друг друга не поправляют. И как только чувствуют присутствие человека, мгновенно смолкают. И та

возможность, которая брошена Богом умершим, исчезает. У Достоевского это всё ограничено кладбищем. А я это понял как принцип большого сюжета. За 2 недели, которые даны после бытия, у лирического героя этой поэмы «Россия», который трудится в какой-то своей условно метафорической лаборатории и с помощью коллайдера, который он создал, способен как бы вновь создать бытийную материальную жизнь, он покидает города, покидает жизнь, которая за эти две недели продолжается уже не на кладбище, как у Достоевского, а в городах – в Петербурге, в Москве, в других городах мира. И за те отпущенные 2 недели она ничем не отличается от бытийной, которая прервалась. Так вот за эти две недели герой отправляется в путешествие к последней избе. Условно говоря, последнему живому атому социальности, нашей российской социальности. И эта последняя изба, как последний атом, кончились, но им еще даны 2 недели. И вот герой путешествует по этой России. То есть, это тоже сюжет. В итоге он возвращается к себе домой, побывав рядом с этой сожженной избой, попутешествовав по этому безграничному топкому болоту, которое окружает холм, на котором догорают, последним дымом исходит сожжённая изба. Он возвращается к себе. И в общем, преодолевает этот срок, двухнедельный, отпущенный Богом. Во всяком случае, он не жалеет о том, что именно так употребил это время и это пространство.

Ну, после такой поэмы о России совершенно естественно следовать поэме «Преодоление», где говорится как раз о том возможном чуде, о котором только что я говорю самому себе. О том чуде, когда всё богатство бытийного существования ипостасно рождается вновь, доступно для того, чтобы человек его поправил и преодолел силой и правдой духовного начала. Силой и правдой сознания жизни, которые по Толстому и есть подлинная жизнь. Преодоление, короче, всё-таки совершается, в настоящем и в будущем. В будущем – потому, что оно совершалось уже. И в этой поэме есть моменты (они отражены в этих стихотворениях), моменты, когда такое преодоление уже совершалось, крупными, мгновениями. Раз возможно такое пресуществление в отдельном мгновении, оно становится благой вестью о будущем возможном, чудесном, универсальном пресуществлении. В которое я имею счастье верить и которое, так кажется, таково, что о нём можно сказать, что ради него стоит жить.

Ипостасности присуща победительная сила. Она, ипостасность, предназначена побеждать. Иными словами, нет такой силы, которая могла бы предотвратить её победу. И она побеждает – каждый день, каждую секунду, каждый вновь рождающийся миг. Она побеждает, но победа не одержана. Окончательная победа. Противоречащий подсказывает: «никогда одержана не будет». Но всё время и во всём пространстве будет одерживаться. Разумеется, можно верить в то, что когда-нибудь полная победа состоится. Я склонен верить. Однако, после такой победы вновь начнётся круг победительного осуществления. Иначе будет поражение. Иначе будет остановка и смерть бытия и небытия.

Вот почему и мой обзор того, что удалось сделать за всю мою жизнь, вот этот обзор внушает очень важную мысль и признание. Что же? Всё сделано, что ли? Нет, конечно, нет. Как и в самом мире, с его бытием и небытием, делается всё. Но это всё не сделано. Можно верить, что оно будет сделано. Но тогда начнётся новый круг. Неужели такое признание и есть откровение? Нет, внутреннее чувство говорит о том, что это не может быть окончательной формулой, мистическим хором, каким завершается «Фауст» («Здесь заповеданность истины всей»). Правда, у Гете тоже речь идет не об окончательном пресуществлении, не об окончательной победе. Всё быстрое достигается здесь, здесь осуществляется невозможное, сюда тянет вечно женственное. Но ведь совершенно ясно, Гете так сформулировал свой мистический хор, что нельзя иначе его услышать и прочитать. Вечно женственное тянет туда, где осуществляется, но не осуществлено то, что желает осуществиться. Поэтому женственность вечная. И заповеданность всей истины не означает ее окончательную победу. Здесь только заповеданность. То есть то, что явлено как некая, вечно достигаемая и никогда не достижимая вполне цель. «Всё быстрое символ, сравнение, цель бесконечная здесь, в достижении». Достижении, но не в достигнутой. Вот так, правда, в переводе Пастернака, выражена мысль Гете. Но и у него, в дословном переводе, говорится о вечном, живом процессе достижения. Победа совершается, но не совершена. Ну, а что касается того, что удалось сделать за свою жизнь, это, я не хочу сказать, ничтожно мало. Это как отдельная жизнь ипостаси: что-то завершилось, но рождается новая, новая, новая ипостась, как человеческая жизнь. Каждая из этих жизней завершается. Рождаются новые, новые и новые жизни, и они несут новый,

обновлённый, ипостасно вновь рожденный смысл. Это всё очевидно. И говорю это себе к тому, что в разговоре с самим собою я никак не должен впадать в заблуждение и говорить себе: «Всё сделано». Не сделано ничего, но делалось всё возможное. И поэтому кое-что еще предстоит сделать, и я попытаюсь.

10 ноября 2019

Были у меня вчера два настоящих философа – Корольков и Грекалов. В общем-то, мои друзья. Хороший был разговор за круглым столом. Ну, заговорили и об ипостасности. Как-то сразу термин этот был принят, и меня спросили оба, не сговариваясь: А кто предшественники мои? У кого эта проблема, эта вера вызывала интерес? Может быть, кто и исповедовал это веру? Сейчас, когда мне трудновато, завалив книгами этот круглый стол, доискаться заново, вчитываясь и перечитывая многие тексты, этот вопрос прояснить, а он обязательно должен быть прояснен. Кто до меня думал об этом же? Сейчас мне трудно с книгами. Вчитываться, перечитывать. Моя главная опора – память. И вот опять же интуитивное такое ощущение, которое до опыта, до проверки, до перечитывания дает достаточно надежный ответ. Так вот, я думаю сейчас, как и тогда, вчера вечером, пытаюсь ответить на этот вопрос. Я сказал, что так универсально, ко всему бытию и даже небытию, принцип ипостасности не применялся. Ну, пришлось и уточнить еще и ещё раз самое понятие ипостасности. Скажем, к Льву Толстому, к его опыту, эта терминология неприменима. Он не знал понятия ипостасность, ибо сознание жизни, которое он называл жизнью, подлинной жизнью, если это подлинное сознание и подлинной жизни, оно для него существовало вне времени и пространства. Поэтому оно всегда было не то что равно себе, оно изменялось, но оно не знало ипостасного перехода, поскольку отделялось от того, что я называю ипостасью. Как христианская религиозная каноническая вера отделяет душу от тела. Ипостасность неотделима от ипостаси, той или другой. Пусть даже эти ипостаси взаимопереходны. А это важнейшее свойство ипостаси как таковой, если проследить её везде – не только в триединстве Бога, но и в человеческом опыте и в соотношении людей и растений, людей и животных, людей и минералов даже. Ипостасность – это то начало, которое воплощается в

ипостасях. И в этом смысле не может их исключить, выделиться независимо от них. Оно в них, оно благодаря им.

Ну вот так же можно проследить и религиозные учения разных времён разных народов: индусскую и греческую философии; разумеется, и ветхозаветную, главное, христианскую. Нигде это понятие ипостасности не имело своего термина и не применялось так всеохватно, как это пытаюсь делать я. Разумеется, то, что подсказывает мне эту веру, многократно, бесконечно многократно, чувствовалось, предчувствовалось всеми философами мира, во все времена, в пространстве и времени. Но неужели, и в самом деле, я делаю какой-то первый шаг? Всё это нужно проверить, проверять, испытывать. Целый раздел философии ипостасности надо было бы написать, погружаясь в факты, в тексты, неся это в активе мысли, как Лосев – тексты античности и возрождения. Лосев, кстати, был слеп, но черпал из памяти. У меня, конечно, не такая память. Впрочем, кто знает. Сейчас я испытываю её и обнаруживается, что я помню значительно больше, чем осознаю то, что я это помню. Я привык прикасаться к текстам, перелистывать страницы. И даже внешний вид текста мне очень многое подсказывал. Теперь я по памяти воссоздаю всё это. А память – от того, что я запоминаю. И я не могу отделить даже ипостасность от ипостаси, от смены ипостаси, от их взаимодействия, от их взаимопереходности, от всего того, что присуще самой природе ипостаси. Я уже говорил себе, что у меня и духовное, и душевное неотделимо от телесного, поскольку телесное проявляется в ипостасной смене, в ипостасном соотношении – когда отдельные ипостаси взаимно переходят друг в друга. Даже переходя стадию небытийного осуществления – трудно вообразимого, непредставимого и всё же допускаемого философской интуитивной мыслью. У меня нет разрыва души и тела. И кто знает, может быть, в этом отношении я делаю какие-то первые шаги. Да, моя беседа с самим собою всё больше и больше возвращает мне меня самого. И как соотносить ипостасность, которую я исповедую, с тем моим сегодняшним состоянием, когда я оказываюсь почти на границе бытия? Ибо для меня потеря зрения равна смерти, равнозначна смерти. И вот вчера я видел лица моих друзей, всматривался в них и как будто испытывал себя, так ли точно я вижу каждого из них, как видел недавно. Или мне просто подсказывает память их облик, и я больше вижу то, что помню, чем то, что помимо памяти вижу. Под вечер мне стало очень

тяжело, поскольку на этот вопрос я так и не ответил. Пока мне кажется, я не только вижу помимо памяти, но и немножечко делаю мое зрение более точным, более подробным. Сквозь эту белесую, повторяю, пелену. Тем не менее, так это или не так, покажет моё уже не столь продолжительное будущее. Сколько оно продлится, я не знаю. К сожалению оно не таково, как я предполагал и даже мечтал. Зрение мне необходимо, я без него не могу. И даже когда его не будет, оно должно каким-то образом, да! Да! тоже ипостасно, жить, принадлежать мне, возобновляться. И кто знает, может быть, здесь этот поиск мой, эта моя воля к сосредоточению отсутствующего зрения породит какое-то чудо, что ли?

И я открою новую способность, которая соберет всю, ещё пока не измеренную мною мою память. И я смогу ответить не только на вопрос, были предшественники или нет. А и на многие другие вопросы, без ответа на которые невозможна ни вера, ни собеседование веры с точным знанием. Их художественное видение, их сочетание, их собеседование, этих трёх начал, порождает зрение, даже если его нет. Я замечал, что я всё чаще и чаще сижу с закрытыми глазами. Так я смотрю телевидение, и, закрыв глаза, я продолжаю видеть, и видеть лучше, чем с открытыми глазами, с открытым одним моим глазом. Да и второй, отсутствующий, как будто бы видит, как будто бы прорезывается и вот-вот раскроет себя. «Как у испуганной орлицы». Шутка, которая еще и ещё раз пробуждает то мое вечернее невыносимое состояние, которое было во мне, когда мои друзья ушли.

Сейчас утро, всё по-новому, и я себя чувствую бодро, молодо. Готов всё видеть, все вспоминать и безгранично раздвигать границы памяти. И всё же утверждать, что до меня эта вера в ипостасность неосознанно жила, а, может быть, и осознанно. Что без неё вообще невозможно сознание. Правда, та или иная версия сознания изгоняла этот термин, это представление. Ради себя изгоняла. Потому что вера в ипостасность явно вносила изменения в любую веру. Так, наверное, и было. И когда речь шла о переселении душ, и когда верующие отказывались от идеи переселения душ, утверждая некую абсолютную независимость души. Это даже не независимость, а это её, при всех изменениях, вечность. Именно она радовала и пугала верующего. Но здесь тоже было ощущение, изгнанное, подчинённое, снятое, как говорили философы, ощущение ипостасной правды. От всего этого я свободен. И только тогда, когда я соберу всю свою память о предшественниках, я буду

по-настоящему счастлив моей верой. Делать первые шаги по снежной целине, не чувствуя за собой никого, ужасно. И антиипостасно. Потому что к самому определению ипостасности должен быть применён тот же принцип, который я исповедую. Когда говорю себе, что моя вера это вера именно в ипостасность всего сущего. И того, что не существует, того, что может существовать, того, что никогда не будет существовать. Это и есть принцип универсальной и, вместе с тем, конкретной свободы. Свободы того, что я называю культурой духа. Свободой того, что я называю собеседованием трех начал: религии, науки, искусства.

Вчера встретились два философа. И я – кто-то тоже, вроде, философ. Скажем условно, только в разговоре моем со мной самим, три философа встретились. Причем, каждый из них не только философ, но и писатель. Они все из той секции критики, которую я руководил и руковожу до сих пор в Союза писателей. У всех у них есть художественные страницы. Но есть у них, прежде всего, философская полнота знания. Есть и своя религиозная правда. У каждого из нас троих – своя. Но я порадовался тому, как мы вчера встретились, как мы оказались родственны друг другу, как мы обняли друг друга, встретившись и расставаясь.

Необъятная индусская культура. Достаточно одного этого океана, чтобы иметь подлинного предшественника. Это культура, из которой и христианство почерпнуло. Кто знает, может быть, Иисус Христос до последнего года своей жизни побывавший в Индии. Но там нет понятия ипостасности. Переселение душ предполагает вновь рождение, в другом времени, других обстоятельствах, в новом облике всё той же одной души. А когда совершается движение различных сознаний, различных, да, вроде ипостасей, к совершенству – путь любви, путь знания, путь вождя – то конечным итогом этого пути предполагается, ну, условно скажем, растворение в абсолюте. То, которое, казалось бы, вообще снимает ипостасное сознание. Таково состояние нирваны в книге, которую я уже упоминал, Арья-Шуры «Гирлянда джатак». Условно, в притчах, сказках говорится о различных воплощениях Будды, воплощениях не только в людях, но и в животных. Казалось бы, вот оно, подлинное, ипостасное представление. И всё же речь у того же Арья Шуры, речь идет об одной душе, об одном мироотношении – о том, как Будда перевоплощался, пресуществлялся в других существах. Но это был Будда. И везде, хотя в

разных вариациях, неожиданных проявлениях, он поступал, как поступает Будда. Отдавая себя, своё тело в жертву голодающим. Множество эпизодов, множество сюжетов в каждой из «Джатак» повествует о Будде. О том, как он может проявляться, оставайтесь собой и поступая так, как мог поступить только он.

Понятие ипостасности другое. Оно предполагает переход одной души в другую. Взаимопереход сознаний, неотрывное от ипостасного телесного воплощения. Здесь нет представления об абсолюте как о цели, как об итоге этого движения к совершенству. Тем более, что идея этих разных путей к абсолюту предполагает представление о том, как по мере приближения к нему эти разные пути сближаются и в конце концов отождествляются, перестают быть. Становятся тем единым началом, которое растворяет эти пути в самом себе. Нет, представление об абсолюте одно. Представление об ипостасности божественной Троицы, trimurti индусское: Брахма, Вишну, Шива – это тоже представление о единых бессмертных божествах, которые получают разные рождения и разные существования. Таковы герои «Махабхараты», которые в итоге итогов, после всех приключений, после страшной войны оказываются в царстве Брахмы и обнаруживает себя как божества, которые лишь временно были людьми. Нет, именно здесь отсутствует то самое представление об ипостасности, которое я пытаюсь почерпнуть в христианской канонической догматике. Но освобождая это представление от догматических и даже канонических ограничений, применяю ко всему сущему и ко всему, что есть, ко всему, чего нет. И ко всему, что может быть. Именно здесь происходит полное освобождение. Немыслимо страшное и невысказанно радостное представление о свободе. То, до какого только мог додуматься я, грешный, думая об этом всю жизнь. Это совсем не то, что даже в восточной индусской культуре было многообразным выражением единства. Моё представление о единстве складывается из ипостасного собеседования равноправных миров разных душ, которые обнаруживают своё внутреннее тождество, которые осознают себя разными и, разговаривая друг с другом, проникая друг в друга, переходят границу своего существования. И сполна испытав жизнь в другой ипостаси, возвращаются к себе.

Но это только предварительный очерк того, что мне нужно сделать. Это надо исследовать. Ну что ж, я думаю, задача такая, что она, может быть, и продлит мою жизнь.

11 ноября 2019

Ипостасность учитывает все трагические, гротесковые и трагические, изломы истории. Отечественной и мировой. И вместе с тем, она преодолевает разрыв между идеалом и действительностью. Разумеется, пока только для меня. А этот разрыв свидетельствовал о юности того этапа истории, который мы пережили, переживаем сейчас и который, как кажется, не будет увенчан мудростью и правдой зрелости. Но вера в ипостасность, для меня опять же, предвещает эту эпоху. Эпоху зрелости. Эпоху преодоления. Этого векового, казалось бы, непреодолимого разрыва между действительностью и идеалом. Гете в своем «Фаусте» возносил ввысь силой влечения, которую пробуждает вечная женственность бытия. Фет перевел несколько иначе мистический хор завершения «Фауста». «Здесь всё безбрежное в ясной поре. Женственно нежное взносит горе». В этом переводе утрачен отчасти найденный Гете термин «вечная женственность». «Женственно нежное взносит горе». Но очень многое здесь схвачено точно. Фетовским словом. А это гениальный поэт и философ. Но во всяком случае, он своими строками перевода передаёт это вознесение ввысь.

Данте всё равно опережает всех. Показав, дав возможность читателю пережить этот взлёт допредельной или запредельной высоты к Небесной Розе, он равномерно, не теряя связи с великим центром, колесным механизмом бытия возвращает на землю. Тем не менее, связь этой высоты, на которой оказывается герой «Божественной комедии», с опытом Земли в её победительном преодолении не была показана в «Божественной комедии». Наоборот, земное было как бы закреплено за землей, заземлено в кругах дантова ада. И это свидетельствовало об эпохе юности, где так резок разрыв между действительностью и идеалом. Зрелость преодолевает этот разрыв. Сейчас очень часто, я не знаю, с каким чувством, вполне ли осознавая то, что говорится, говорят о последних годах, о последних десятилетиях бытия, о конце бытия. А я вижу свой конец. А что касается бытия, то здесь я чувствую, предчувствую и верую в это предчувствие,

предвижу своим уходящим зрением преодоление, зрелость, которая отнюдь не завершает движение. Она чревата новым началом, совершенно обновлённым опытом восхождений, трагедий катастрофических, апокалиптических войн, гибели. Но она, эта эпоха зрелости, всё равно о себе властна заявить. И заявить, не уводя от реального опыта. Здесь нужна формула, некое образное представление об эпохе зрелости в будущем.

И вот вера в ипостасность даёт такую формулу, ибо она, опять же повторю то, что говорил уже себе самому, она, эта формула, не отрывает душу от того, душою чего она является. Небо и земля призваны соединиться. И человек призван, оглядываясь на пройденный пережитый опыт, образно, точно, ощутимо, зримо увидеть то, что призвано совершиться. Хотя, может быть, и не совершится, не успеет быть явленным. Ибо мы, люди, погубим это преодоление. Но все равно, оно заявлено. И образ этого будущего уже не уйдёт. По крайней мере, для меня в мои последние дни. Допустим, я не вижу прообразов этого будущего в моей современности. Наоборот, вижу апокалиптический распад, крушение, абсурдное разрушение человеческого сознания. Допустим, я не вижу. Но я предвижу то, что должно свершиться. И в душе моей, по-моему, это совершается. Именно силой веры в ипостасность. Убеждаюсь, что к этой вере шёл весь опыт сознания человеческого. И ещё и ещё раз нужно оглянуться, пересмотреть весь этот опыт, найти в нём отблески будущего. И всё же, нужно определённо, по возможности предельно чётко, свести душу и тело. Небо и землю. И такое соединение воплощено в образе ипостаси как таковой, которая немислима в отрыве от других ипостасей. И вместе с тем, сохраняет свою целостность и особенность и готова к тому, чтобы перейти в другую ипостась и по-новому, обновленно для самой себя, вернуться к себе самой. И вот оказывается, что в моей грешной поэме «Данте» я пытался это сказать по-своему, ещё не пользуясь той образной терминологией, которую исповедую сегодня. Сегодня утром особенно убежденно и просветлённо. Эта формула охватывает весь опыт, доступный мне. Насколько я его вобрал в себя, насколько я помню его. И насколько он оживает во мне новой жизнью на грани, на границе ипостасного перехода.

Воображенье, где ты?
Ведь я молиться мог,
Рисуя силуэты
От головы до ног.

Прообразов не видя,
Я улыбаюсь вслед
Всему, что видел Фидий,
Мирон и Поликлет.

И, почему-то сгорбясь,
Мечтаю как-нибудь
Вообразить прообраз
И линией замкнуть.

И по небесной вазе
На всём моём пути
Краснофигурной вязи
Рисунок провести.

А что? На чёрном фоне
Вселенской глубины
Атлеты, девы, кони
Особенно видны.

Я б ничего другого
Для неба не хотел.
Я слушаю их говор,
Вдыхаю запах тел.

И, может быть, впервые
В Писании прочту:
«Прообразы живые,
Убейте пустоту».

12 ноября 2019

Жизнь состоит из мгновений. И из каждого такого мгновения есть ипостасный выход в другое мгновение. Само это движение ипостасно. И вот

мне кажется, если бы каким-то чудесным способом можно было вернуть любое из мгновений прожитой мною жизни. Любое мгновение, какое всплывает из памяти, какое я могу вспомнить, если сфокусирую свою память, как я сейчас должен научиться. Так вот если вернуть каким-то чудесным способом любое из памятных мгновений, я бы согласился его вернуть. И дальше прожил бы совсем другую жизнь. Другую, не ту, какую прожил на самом деле. А так как таких мгновений бесчисленное множество, многое забыто, но память чудесным образом вновь рождает их. И их так много, их неисчислимо множество. То и ипостасных вариантов моей жизни, которая последовала бы после любого из этих мгновений и была бы не похожа на ту, которую я прожил, вот это ипостасное множество – оно удивительно. И можно было бы о каждом из таких выходов, из таких переходов написать, вообразить другую жизнь в тех же обстоятельствах, в те же годы. Довоенные мгновения, блокада, эвакуация. Все то, о чём ещё до сих пор я не написал и по-настоящему не сказал, как будто откладывая это до сегодняшнего дня. До сегодняшнего утра, когда меня пронзила эта мысль о возможности такого, не повторяющего мою жизнь, вновь рождения. Всё дело только в том, что вернуть это мгновение невозможно. Можно вернуть только в памяти, выстроить свою иную жизнь лишь в воображении.

Это и есть творчество. Это и есть то, что мне подарено. Если только я смогу этим воспользоваться, сумею воспользоваться. Может быть, этого вполне достаточно и нужно ограничить себя творчеством. Но я бы не отказался и о том, чтобы заново и по-новому прожить свою уже прожитую жизнь. Сложилась бы немножко другая судьба. Моя, да не только моя. Ибо такой способ вновь рождения, вновь проживания жизни, если только можно было бы хоть что-то из прошлого вернуть, вот этот особый способ, будучи творчеством, мог бы, если бы такое чудо состоялось, стать самым счастливым – вновь прожитием, вновь рождением для жизни. Если бы это было возможно, это было бы для меня предельным счастьем. Но, разумеется, при этом я вспоминал бы, как оно было на самом деле. И вспоминал бы с тем, чтобы не допустить повторения. Потому что это новое движение тоже ипостасно. Оно то же, но другое. И вот я спрашиваю себя, зачем такая фантазия посетила меня сегодня. Для творчества – безграничный простор, а для жизни – полная невозможность. И опять возникает лик Противоречащего. Такой простой возврат к любой подробности, к любой

детали прожитого прошлого абсолютно невозможен. Поскольку этот возврат требовал бы ипостасного вновь рождения. И поэтому никакого, даже в одно мгновение, возврата быть не может. И воображение и творчество отделяются от жизни. И, видимо, составят теперь, сейчас, для меня главное содержание и главную возможность. Но до сих пор возможность, не воплощенную в слове, в образах.

Нужно поблагодарить себя за такую фантазию. Противоречащему я прямо говорю: да, это фантазия. Удовлетворись тем, что это так. Исчезни. Творчество всегда побеждает Противоречащего. И я смотрю – победило опять. Его нет. Я один на один с самим собою. И держу перед собой зеркало своей души. И, глядя в него, что-то поправляю в себе. Оно точно отражает то, что было. Отражает в пространстве, времени. Смотришь в зеркало и видишь не только себя такого, каков ты вот в этот миг. А видишь всю свою жизнь, если всмотреться. Но ты всматриваешься только для того, чтобы увидеть то, чего не было с тобою, что могло бы быть. Либо было бы лучше или катастрофичнее, было бы больнее или счастливее. Было бы тем же, но иным. И вот в такое зеркало своей души я и пытаюсь всмотреться сегодня. И моего зрения достаточно для того, чтобы так смотреть. Итак, Противоречащий вновь повержен. Смотрит на меня своими особыми страдающими нечеловеческими глазами. Потому что его правда несовместна с правдой жизни, с правдой вечного, каждый раз обновляющего бытие движения. С правдой, о которой вспомнишь. И это спасает тебя от отчаяния, от того ада, в который тебя втягивает Противоречащий. Ибо его правда это какое-то недомыслие, недочувствие, недовоображение, недоверование, если так можно попытаться выразить свою ещё совсем неточную мысль. Такова его правда. И она должна быть вытеснена, побеждена. И я опять остаюсь один на один с самим собою. Но я тону в воображаемом богатстве своего возможного, но не осуществленного бытия. И дай Бог мне сил, дай Бог мне дней для тех трудов, в которых я смог бы воплотить невоплощенное. Понимая, что оно невозможно в реальности, и всё равно являя себе самому его как великую возможность видеть себя в зеркале своей души.

Оказывается, воображение это ипостасное воспоминание о себе самом, другом. Воспоминание о себе-другом – это и есть любовь к другим. Переход в них с тем, чтобы потом обогащенно, пережив этот переход, вернуться к себе. Даже если воображаешь самое фантастическое, самое

невозможное. Или из другого времени, из другого пространства, из другой эпохи. Если просто воображаешь. Неужели и здесь действует определённый, не осознанный нами закон? И этот закон, коль скоро он всё-таки осознаётся, пробуждает в каждое мгновение то особое чувство возможности, то ощущение победительной силы творчества. Которое имеет смысл. В котором таится возможность радостных счастливых переживаний, убеждающих в том, что ты сам, действительно, ипостась. Это очень важно выйти из себя самого, обрести целый мир и понять, что весь реально существующий вокруг тебя мир есть лишь мгновение, бесчисленное множество мгновений, которыми начинается и может начаться твой возврат к тебе самому. И твой выход из себя самого к другим, целому необъятному миру. Пережить его вполне, вроде бы, невозможно, но есть особый такой вот нравственный закон ипостасности.

Есть возможность отдельными мгновениями, отдельными исходами из себя самого неисчерпаемо исчерпать великую возможность. Это такое погружение, которое не упрощает, не ущемляет безграничность проникновения в то, что, казалось бы, закрыто. Не ущемляет и, вместе с тем, достаточно для того, чтобы в самом себе, в пределах своей ипостасности, осознать полноту её. Полноту её возможностей и полноту мира, который существует вокруг. Существовал прежде, будет существовать. Это вообще открытие богатства мира. Да, так вот, много раз я почти понимал это. Это были самые радостные мгновения жизни. Творческие мгновения. Как мгновения радости. И вся моя жизнь состояла из таких мгновений. Но самое страшное в ней, невыносимо, непереживаемо страшное было тоже исходом из меня самого. Судьбы других; то, что свершалось с миром. Это соприкосновение с тем, что вне тебя, спасало от заблуждения, спасало от ложного успокоения, избавляло от этого ложного, неверного представления о законченности ипостаси. Такое представление противоречит самой природе ипостаси. Как только оно возникает, сразу ты оказываешься в каком-то кругу неверных, пугающих, погружающих в отчаяние представлений. А отчаяние, которое тоже ипостасно, коль скоро оно вырвано из этого круга ипостасного погружения, это отчаяние ошибочно. Оно лживо. Ибо оно говорит о конце не только ипостаси, но всего мира ипостасных вновь рождений, инкарнаций. Так вот, кажется, я недостаточно жил, ибо это

осознание, которое приходит ко мне сегодня, почему-то не озаряло меня раньше. Но предчувствие сегодняшнего утра было всегда.

13 ноября 2019

Я живу, окружённый ипостасями тех, кого уже нет рядом со мной. И сам я ипостась каждого из них. Самое важное почувствовать себя ипостасью, а не просто видеть кругом тех, кто является ипостасью тебе. Это чувство особое, и трудно найти слова для того, чтобы его передать. Я ипостась моего отца, моей матери, моего дяди, моего ушедшего сына. Ипостась самого близкого человека, с которым я прошёл всю жизнь. Как это совмещается в одной человеческой судьбе, в одной жизни? Совмещается. Я- то учился, во всяком случае, удерживать, охранять от старения то, что я называю моим сознанием. Я здесь, в этом проявлении, так же молод, как был. Так же начинаю с начала, с самого начала. И потому молод. Опыт жизни, отрицательный часто, угасающий молодые порывы. Хочется что-то сделать. И Противоречащий, старящий тебя, говорит: зачем? Всё это я научился заглушать, преодолевать. Просто это не существует для меня. Я, действительно, молод сознанием. Но моя телесная машина разладилась. Она не отвечает моим душевным порывам. И всё же я заставляю её слушаться. Можно было бы оказаться в плену моего телесного недуга, моего ухода из мира моих ипостасей, где я сам ипостась. Но я научился вполне – свободе. Свободе, которая молодость; свободе, которая самая юная, только-только родившаяся любовь. И пусть она прошла всю жизнь и все десятилетия, она всё равно молода, первозданна, наивна и даже забывчива. И мне нужно сосредоточивать память, чтобы вспоминать свой отрицательный опыт. А положительный, как будто, и не нуждается в том, чтобы его вспоминали. Он просто живёт, не стареет, совершает всё новые и новые порывы. Конечно, невыносимо, мучительно невыносимо не иметь силы и телесной молодости, чтобы воплотить многое из того, что сейчас теснится в душе и просит осуществления. Но это как раз вытесняется сознанием. А когда представишь себе, сколько вошло в это сознание, сколько других ипостасных бытий одарило меня. Как, казалось бы, трудно и, вместе с тем, очень легко, по-молодому решительно ясно и просто на всё это ответить.

И вот я отвечаю. Вот я вижу себя больным. Мне 10 лет. Отец только что принёс и поставил передо мною, лежащего на кровати, бюст Аполлона. Тот самый, который я, бегая на площадке перед нашим домом, видел в окно одной из квартир, где живёт художница со своей дочкой. Там он стоял на каком-то шкафу. И я мечтал о том, чтобы рассмотреть его поближе. Я любил этот образ, бесконечно часто его рисовал. И вот мой дядюшка, тот самый Самохвалов, ныне знаменитый, сказал мне, что художница хочет выбросить этот бюст, потому что во время ремонта те, кто делал ремонт, как-то его поскоблили, пробили дырку в виске. И вот она хочет этот бюст выбросить. Отец сразу понял по моему молящему взгляду, что нужно сделать. И вот он принес этот прекрасный бюст Аполлона. И даже не Бельведерского, потому что один завиток его причёски явно не совпадал, как можно судить по фотографиям, с тем оригиналом, который стоит в Риме. Может быть, этот бюст даже ближе к леохаровскому подлиннику. Кто знает. Это хороший гипсовый отливоч. Но вот отец, поставив его передо мной, разводит белила, тот особый состав, о котором он всё хорошо знает. И тут же передо мной у меня на глазах тонирует этот бюст белым тоном. Происходит чудо у меня на глазах. Вдруг этот дивно прекрасный и теперь принадлежащий мне Аполлон обретает такую нежную и красивую светотень, какой не было. Только что не было. И вот я всматриваюсь в него, неотрывно смотрю. Свет гасят, я остаюсь почти один на один со моим кумиром, с моим гипсовым кумиром. Родители засыпают на кровати, которая стоит у противоположной стены. А я сквозь тьму продолжаю видеть этот облик, этот образ. Честно говоря, я очень хотел бы именно с этого мгновения начать свою новую ипостасную жизнь. И вот, казалось бы, это мгновение сохранено, как я сохранил молодость своего сознания. Вот он стоит передо мной. С тех пор та краска, которой покрыл его, этот бюст, мой отец – умело, профессионально, немножечко стала даже осыпаться. Но это та самая краска. И бюст, лик этот, сохраняет прежнюю божественную светотень. А в виске дырка. Там немножечко колебался и готов был отвалиться ещё один локон. Но отец тоже точно так, как это нужно было сделать, приклеил его, скрепил с остальным гипсом. И вот он так же твердо стоит, как стоял тогда. А та дырочка, которая при этом осталась, в виске, закрыта ватой, которую тогда отец вложил в неё. Я с тех пор не менял эту вату. Да и вообще, она не видна. Она под тон гипсовой головы, она как будто тоже часть гипсового монолита.

И вот я по-прежнему всматриваюсь в то, что сохранилось. Тогда как, казалось бы, все, кроме меня, ушли. Нет моего папы, нет матери, которая издали днем, пока я болел, лежал, с улыбкой наблюдала, как я неотрывно всматриваюсь в моего Аполлона. Нет почти всех, я мог бы перечислить, с кем связаны самые радостные, самые счастливые, самые дорогие в жизни минуты. Которые я тогда не называл ипостасными, а они были именно такими. Их нет, а эти мгновения остались. И если бы можно было совершить чудо моей ипостасной верой, и я мог бы вернуть все эти мгновения, оставив при себе моё нынешнее сознание, которое вполне можно было бы оставить, ибо оно по-прежнему молодо. И я по-прежнему как тот, кому было 10 лет, сознаю себя. Если бы можно было каким-то чудом это вернуть. Если бы это не стало ипостасно недостижимо и достижимо иначе. Только так, как может одна ипостась перейти в другую и вернуться к себе. Если бы, если бы ... Я бы именно с этого мгновения вновь пришёл бы в мир. И памятью обо всей прожитой жизни, иначе, совсем иначе, совсем не так, как это было, начал бы отсчёт мгновений, минут, дней и лет. Кто знает, может быть, когда-то такое чудо стало бы возможным. А сейчас оно возможно только в воображении. Но воображение это не призрачно. Оно настолько живо, что я как будто почувствовал прежнее состояние своего молодого тела. Я обрел прежде острое точное зрение. Я думаю, что стоит поймать это чудо, на секунду остановить его и непременно продолжить – совсем иначе, по законам ипостасной свободы, свободы и верности самому себе и другим. Тем, кто ушёл и всё равно остаётся рядом.

14 ноября 2019

Ну вот, вечером вчера. Несколько мыслей. Вступление есть, хоть поздно. Всё то, что говорилось прежде, некая первая часть разговора.

А сейчас захотелось внимательно проследить жизнь отдельной ипостаси как жизнь ипостасную. Применительно не только к себе, но вообще. Однако и к себе тоже. Вчера было ясно. Но сегодня мысль уже немножко колеблется, но попытаюсь найти точный фокус, в котором прояснилось бы вчерашняя черновая прикидка. Индивидуальность, личность, ипостась. Эти понятия ипостасны по отношению друг к другу. И тем не менее, каждое из них определяет какой-то этап жизни ипостаси. И вот

такое соотношение: детство – индивидуальность, детство и юность – индивидуальность, юность и зрелость – личность. Личность и собственно ипостась.

Последний этап жизни. Ну, тот этап, который я переживаю сейчас. Речь идет, конечно, не о возрасте, не о десятилетии, а о том, что на этом этапе понемногу и навсегда прощаешься со многим, что раньше было неотрывно от твоей зрелости. И вот придётся осознать это. Это расставание навсегда. Встреча с тем, с чем расстанешься на этом этапе, будет лишь ипостасной. Поэтому детство, и отрочество, и зрелость, и старость – всё это понятия ипостасно и кровно связанные друг с другом. И всё же разные. Вот мне думается, что правильно было бы полагать, что детство, отрочество, юность, как первый этап ипостасной жизни, связаны опять же с ипостасным осознанием индивидуальности. Думается, что уже первые движения после зачатия, первый крик младенца, первые впечатления, капризы, острые и противоречивые переживания отрочества, катастрофические противоречия юности – всё это, так или иначе, форма осознания индивидуального начала. Познаешь себя самого как отдельного, особенного. На том этапе, когда, казалось бы, нет разрыва между тобой и другими людьми. Наоборот, есть некая тождественная с ними связь. Поэтому речь должна идти об ипостасности индивидуального. В чём заключается особенность этой ипостасности? Это надо определить. Может быть, как-то вспоминая мгновения жизни. Те, с которыми хотелось бы сродниться сейчас и с которых хотелось бы начать сегодня мою новую ипостасную жизнь. То, о чём я думал прежде. Несколько дней. Несколько только что мелькнувших и ушедших от меня дней. Да, это надо определить, и я попытаюсь это сделать.

Всё равно, борьба за свою индивидуальность – первый шаг существования ипостасности человеческой жизни. Это первое и бесценное свойство жизни. И сознание жизни, по Толстому, в принципе индивидуально. Толстой именно так и определял человеческое «я» в «Книге о жизни». Что вот нет ребёнка, который бы сотни раз не определял, что такое «я». Сотни раз в день: «а я люблю то и не люблю это». «Я» человеческое, по Льву Толстому, складывается из любви и нелюбви. Любовь соединяет с миром. Нелюбовь выделяет индивидуальность. Вот это Толстой связывал как раз с детством, но полагал, что это то свойство, которое сохраняется на протяжении всей жизни. Всей видимой нам земной жизни. От рождения до

ухода из неё. «Я люблю то и не люблю это». Уникальное, сугубо индивидуальное соотношение этих проявлений сознания и есть сознание жизни по Толстому. И смысл жизни в том, чтобы по возможности сократить силу нелюбви, выделяющую человека из мира, и увеличить силу любви, соединяющую его с другими людьми, со всем бытием. На протяжении человеческой жизни, по Толстому, это происходит. Мы откуда-то приходим с этим сознанием. И усовершенствовав, развив его, увеличив в нём силу любви, уходим из жизни. Унося с собою это новое, но, по сути, то же самое сознание бытия твоего. И там оно, в каких-то неведомых для нас формах и проявлениях, продолжит своё бытие.

По сути дела, тут почти сформулировано понятие ипостасности индивидуального начала. Толстой не пользуется этим термином. Да и вообще, кто им по-настоящему пользовался? Повторюсь, понятия «ипостась» было. Понятие «ипостасность» нужно еще обосновать. И вот вступление к такому обоснованию, кажется, я всё же сделал в предшествующие дни разговора с самим собой. Итак, первый этап, большой этап, охватывающий младенчество, детство, отрочество, отчасти юность, связан с ипостасным осознанием индивидуальности. Личность это индивидуальность, уже связанная с окружающим миром, интересная и важная для других, интересная другим и важная для них. Это то в индивидуальном, что имеет общее значение. По сути дела, это то, что связывает человеческое «я» с окружающим миром. Связывает, утверждая его, как нечто такое, что предъявлено миру и ведёт за собою другие человеческие «я». Личность. И вот следующий этап жизни человека – это ипостасность личности. Но вряд ли можно, опять-таки пользуясь терминами Толстого из «Книги о жизни», вряд ли можно свести личностное начало только к любви. К тому, что он называл любовью, связующим проявлением человеческого «я» с миром, с другими человеческими «я». Нет, тут куда сложнее. Личность уравнивает в себе особый индивидуальный вариант соотношения любви и нелюбви к миру. Ипостасность на этом этапе как раз проявляется в этом. В том, что так или иначе утверждает человека как личность среди других индивидуальностей. И по отношению к себе, индивидуальному, на предшествующих этапах. Индивидуальность в этом смысле – предчувствие личности. Воля к тому, чтобы личностное начало утвердилось. И в период юности противоречие, иногда трагическое, катастрофическое противоречие между волей к тому,

чтобы осуществить себя как личность, и неспособностью, индивидуальной неспособностью ответить требованиям этой воли. Здесь тоже на этом этапе, когда воля к личности находит всё-таки свою форму, свою природу осуществления, есть своя ипостасность.

Личность нашла себя, личность себя утвердила. Личность осуществила какую-то особую форму связи между собой и другими. Иными словами, ещё раз. Личность состоялась. Но её ипостасность на этом этапе особая и требует специального разговора. Ибо кажется, что именно на этом этапе никакой ипостасности нет. А есть личностное противопоставление всему окружающему. Тем не менее, и здесь ипостасность живёт, хотя далеко не всегда осознается. Как правило, не осознается. Ибо личность предстаёт и в бореньи с собою – остаток прежних переживаний юности, – и в противоборстве порою с миром. Проявляя в какой-то мере нелюбовь, если пользоваться терминологией Толстого, сильнее, чем любовь. Князь Андрей Болконский в большей степени личность, чем Пьер Безухов. И видимо, потому что в нем сила нелюбви, выделяющая его среди других, больше, чем сила любви. Хотя именно с нею, с силой любви, связаны самые счастливые мгновения жизни Андрея Болконского. А противоборство между любовью и нелюбовью составляет всё равно сущность вот той диалектики души, о которой в связи с толстовском героем надо говорить. Если бы не было этого внутреннего спора, он не был бы толстовском героем. Но у Толстого неоднократно и в других произведениях, не только в «Войне и мире», присутствует мысль об опрощении и о преодолении личностной отделенности от другого мира. Пьер Безухов не личность. Вернее, Пьер Безухов личность, но в меньшей степени, чем князь Андрей. Потому что в нём сила любви больше, чем сила нелюбви. Он больше чувствует порою других людей рядом с собою, чем себя самого. Во всяком случае, он способен их понять, он способен в них перейти душевно, духовно, побыть ими. Конечно, он при этом возвращается к себе самому. Но при этом, переходя как бы в другого, он чуть ли не отказывается от себя самого. В этом особенность его «я», его человеческого «я». Но всё равно, та жизнь Пьера, которая показана в романе, это жизнь личности. И противоборство это не кончается полным преодолением личностного эгоцентризма, присущего князю Андрею. Поэтому он остаётся жить. Тогда как для князя Андрея преодоление этого личностного начала в христианской любви, которую он

испытывает перед смертью, означает смерть, переход в какое-то другое существование. Так его «я» изменяется в конце его романной жизни и на пороге смерти.

Так вот, невольно встаёт вопрос: есть ли ипостасность в личностном начале? Она есть. Но какова она на том этапе, когда человек уже не только индивидуальность. А будучи индивидуальностью, – личность. Это нужно обговорить тоже на каких-то примерах вот тех счастливых и несчастливых мгновений, которые приходилось переживать, самому себе объяснить. Я попытаюсь это сделать. Уже на этом этапе утверждение личностного начала ипостасно в нём, в этом начале. Дает о себе знать и сила перехода от собственно личностного к собственно ипостасному. Это совершается. И без такого глубоко противоречивого соотношения, действенного, иногда мучительного, противоборства, не было бы перехода к третьему этапу жизни ипостаси.

Тем не менее, особое свойства ипостасности на этом этапе жизни требует особого разговора с самим собой. Не всякий человек доживает до этого самоутверждения личности. Остаётся индивидуальностью. А это то свойство, без которого он не мог бы существовать. Индивидуальное всегда будет при нем и в нём самом. Но личностное, то состояние, при котором, кажется, уже ипостасность преодолена: всё найдено, человек себя обрел; и зрело, взвесив свои возможности, свои Про и Контра, предъявил себя миру. Вот на этом этапе всё равно это победившее личностное приходит в некое ипостасное противоречие с тем, что предстоит. И то, с чем оно приходит в противоречие, связано с мыслью о смерти. В детстве люди живут как бессмертные. Они о ней знают. Разумеется, и я знал в пять с половиной, шесть лет. Я знал, что погиб мой брат. Я видел смерть во время блокады. Первую зиму, блокадную зиму. Я знал, что она грозит и мне, и моим близким. И отец в Киргизии. Был случай, когда несколько дней, когда он был тяжело болен и почти умирал, и видел во сне какую-то женщину с металлическим лицом, чем очень напугал и маму мою, и меня. Тогда он поправился. И мысль о смерти, которая вплотную подступила ко мне тогда, отошла. Она стала только мыслью, а не страшным переживанием, которое вот сейчас может оборвать жизнь. На этапе юности, на этапе, предшествующем торжеству зрелости, если таковое будет, мысль о смерти приобретает катастрофическую остроту. Но она, как и само переживание

возможности смерти, контрастно соотносится с молодой силой жизни, которая ещё не вполне себя реализовала. Чувствуется, что ты можешь найти силы, отвечающие твоему волевому требованию, предъявленному к себе самому. Ты ещё пока не нашёл этой силы. Но ты найдёшь, ты предназначен их найти. И вот в таком противоборстве, если кризис юности пережит, человек обретает зрелость, которая, вроде бы, успокаивает это противоречие.

Но именно тут всё чаще и чаще встает перед человеком призрак смерти. Как чего-то такого, что неминуемо приближается и приближается не случайно, когда жизнь может быть оборвана, преждевременно прервана. А приближается закономерно, естественно. И ты, с одной стороны, собираешь в душе всё богатство возможностей личности, ты чувствуешь безграничность этих возможностей, ты готов осуществить это. Осуществляешь, и каждое новое свершение – новое торжество личностного твоего бытия. И вместе с тем, ты представляешь себе, что это может закономерно прерваться, закономерно смениться чем-то другим.

Иными словами, ипостасность зрелости это, может быть, самая подробная часть разговора моего с самим собою. Или, если мыслить категорией трактата, самая главная часть ненаписанной книги. Тем не менее, именно на этом этапе человек так или иначе, в том случае, если его личностное начало сложилось гармонично и счастливо, чувствует себя нашедшим себя самого. Чувствует себя по-настоящему нашедшим себя именно на этом этапе в предчувствии того, что всё это будет взорвано, может быть, разрушено. Во всяком случае, должно уйти и прекратиться. Обдает холодом, погружает в страх, но страх – преодолеваемый личностным началом. Здесь чрезвычайно многое надо вспомнить, заново пережить. Потому что это состояние зрелости, в котором всё время, кстати, сомневаешься, наступило оно, это состояние, или нет, не остался ли ты индивидуальностью, стал ли ты по-настоящему личностью. Сомнение в этом остаётся, но оно побеждено сознанием той силы, которую ты в себе обрел, нашёл, выявил и уже столько раз употребил. Вот тут бы остановить жизнь ипостаси. Остановить в том смысле, что вот это особое состояние зрелости утвердилось бы навсегда. И привело бы к тому, что можно назвать удачей всей человеческой жизни. Интересно, испытывал это состояние Толстой, создав «Войну и мир», или нет. Я думаю, что создав такое произведение, он

мог испытывать. Победительную мощь своего гения. И жизнь автора «Войны и мира» после того, как роман был завершён, стала другой. Но это была жизнь личности. И вот Толстому потребовался еще один роман, о котором иные критики говорят, что он, может быть, по универсальному масштабу погружения в жизнь человека уступает «Войне и миру», но превосходит этот роман художественной мощью, красотой и совершенством. Не знаю, насколько это верно. Мне кажется, каждый из этих двух романов выше один другого. Но по-разному.

И вот, казалось бы, автор «Божественной комедии», когда написана последняя терцина и последний одиночный стих, завершающий всю поэму, когда этот стих создан – «любовь, которая движет солнце и другие светила» – может уже либо уйти из жизни, либо как-то иначе закрепить победу личностной ипостасности. Которая, конечно, по-разному проявляется у разных людей. И в гармоничном, и не в очень гармоничном, в дисгармонии внутренней борьбы. Всё это так. Интересно применить это к моей жизни. Как это было у меня и было ли? Написал ли я свою «Божественную комедию»? Создал ли я свой роман «Война и мир», свой, тот, который отвечает моим возможностям, моим личностным проявлениям побеждающей силы? Тут нужно очень честно, точно и беспощадно дать оценку себе самому. Я думаю, мне придется это сделать. Но только в разговоре с самим собою. Пусть никто не услышит этот разговор. Я ведь могу в нём заблуждаться, впадать в какие-то преувеличенные оценки себе самого. Или наоборот, принизить то, что удалось сделать. Но я предчувствую, что здесь разговор будет.

И вот наступает собственно ипостасный этап жизни. Когда вдруг ты чувствуешь, что смерть предстаёт не как возможность, разрушающая твою победу или завершающая твой путь. Дорогу нашей жизни, ибо ты сделал всё. Она предстаёт как нечто совсем другое. Как то, что открывает собственно ипостасный этап. Есть она или нет? Какие возможности она открывает или, наоборот, окончательно обрубаёт эти возможности? Мысль эта вдруг становится уже не только мыслью, а и твоим физическим состоянием. Тем, что тебе отказывает та или иная природная естественная твоя возможность. Ты чувствуешь кричащее противоречие между могуществом, для каждого своим, но могуществом личностного начала, и тем, как оно ущемляется твоей физической немощью. Необходимостью сменить своё естественное природное существо на какое-то другое. Или перейти в небытие, этот сон без

снов, не желая ничего другого по сравнению с тем, что уже было достигнуто. Это предстаёт как реальность, которую невозможно избежать. И тут ипостасность осознаётся и призвана быть осознанной как никогда в жизни. Тут по-настоящему её нужно осознать и осознать всю свою жизнь на всех этапах. Взвесив на весах этого страшного суда, тебя самого над самим тобою, вполне признать и либо кончиться на этом, либо совершить переход. И это проблема не только веры. Это то состояние веры, которое будет проверено. И проверено сполна, и очень скоро, каждую секунду. Вот тут и решается вопрос, который поставил перед своими учениками Христос в эпизоде со смоковницей. Будете иметь веру, сдвинете гору своим желанием, если скажете ей, так веруя, чтобы она подвинулась. Она подвинется. И всё, что в состоянии такой веры вы попросите у Господа, он вам даст. Имейте эту веру. А не будете иметь, ничего этого не свершится. Будет что-то другое, либо не будет ничего.

Да, вот так получилось, во всяком случае, у меня. Потому что на всех предшествующих этапах жизни не возникло потребности вот в таком разговоре с самим собой, как сейчас. А он ещё только начинается в своей самой главной части, хоть поздно. Вступление есть. Но за этим вступлением должна последовать первая глава, если она последует. И на этом этапе человек выходит за пределы своей индивидуальной ипостасности. Он оказывается где-то в том мире, из которого уже нельзя полностью вернуться к себе самому. Ты возвращаешься оттуда. Но несёшь оттуда такое знание, такое переживание, которого ты прежде не испытывал. Мне нужно будет это по-настоящему осознать. Я пытался это делать уже. И вот это вступление к разговору с самим собою отчасти может восприниматься как вот эта итоговая часть разговора. Но это не так. Вступление есть вступление. Личностное осмысление ипостасности ещё по-настоящему предстоит, когда она будет осознана как таковая. На этом последнем этапе, последнем в жизни этой ипостаси. Эта ипостась кончит жизнь, но ипостасность останется. Я вот думаю, что надо как-то собрать сейчас, это очень тяжело, всё то, с чем я должен сейчас проститься навсегда. С тем, с чем я уже простился и только должен осознать то, что это свершилось. Чего я уже больше не смогу в жизни этой моей земной ипостаси. О чём я могу вспоминать, что я могу воображать. Быть может, именно здесь вот это творческое воображение восторжествует как никогда. Но я уже не смогу это осуществить. Я не смогу

вместе с моим Вилли уйти в чащу леса, как ещё недавно делал. И мы с ним однажды зашли очень глубоко в лес. И тогда у меня не было мысли, что, может быть, я не вернусь. Нет, была живая воля к возвращению. И мы, почти заблудившись, продирались сквозь эти чащи, эти завалы, по топкой, иногда уходящей под воду тропе и без тропы. И наконец, вышли на макаронку, дорогу, которая вела нас к дому.

О чём-то таком сказано, пусть плохо, но сказано в поэме «Перед рождением». И там финал моей ипостасной жизни происходит на дивной по красоте, выпуклой полянке внутри леса. С этими растущими на зелёном выпуклом щите полянки лазурными ёлочками, которые за 4 года нашей разлуки моей, с этой полянкой, выросли, потянулись друг к другу и вот-вот её закроют. Вместе с моей жизнью. И там говорится, в этой поэме, о той, может быть, последней ночи, которую я провел в том блаженном месте леса. Куда, может быть, потом кто-то, фантастически повторяя мой путь, придёт и уже не найдёт этой полянки. Она зарастет. И где уже сейчас мою жизнь вбирает небо и скрывает хвоя. Вот это переживание уже невозможно для меня. И я могу перечислить очень многое, что уже невозможно. Как ни странно может показаться, как ни страшно может показаться, но я уже не смогу побывать в Иерусалиме, в храме гроба, уже не смогу вторично побывать, по-новому побывать, в Индии, в Гьян-Сароваре. Не смогу побродить по залам Эрмитажа. А если окажусь там, то не смогу моим глазом нынешним, единственным глазом, каким я ещё вижу, видеть краски картин так, как я их еще недавно видел и помню о том, как я видел эти краски. Я запомнил их, но уже не могу увидеть сейчас. И вот я сижу в кабинете. Противоречащего нет. Этап собственной ипостасности – достаточно противоречивый и подчинённый вере и правде моей веры собеседник в разговоре с самим собой.

Вот я сижу. Противоречащего нет, кроме меня самого. Я вижу библиотеку, которую собирал всю жизнь. И уже сейчас, неужели я могу сказать себе самому, что я уже многое не прочту, не перечту, не увижу в раскрытых томах этих книг. А если раскрою ту или иную из них, я буду видеть память об этой книге, но не её саму. Если я с лупой, с трудом иногда, добираюсь до точного прочтения той или иной строки. Но с книгами это не так. Я понемногу учусь, не только с лупой, но и без неё, вчитываться в текст. Да даже в мой собственный. Вон сколько моих книг лежит передо мною на

этом круглом столе. У меня есть надежда, не скажу вера, но есть воля к тому, чтобы выздоровление как-то происходило. И чтобы исчезала эта полупрозрачная белесая пелена, сквозь которую я вижу подробности. Ещё пока вижу. Но они будут исчезать, и всё будет медленно погружаться во тьму. И уже сейчас мне порой кажется, что погружение это происходит. И я никогда не видел ни картины отца, ни свои книги, ни лица близких мне людей. Тех, которые приходят ко мне. Ни самое близкое для меня лицо. Что я уже не вижу это так, как видел недавно, и никогда не увижу так, как прежде. Но вот наступает утро. Пелена эта, вроде бы, становится более редкой, более прозрачной. Не скажу – рассеивается, и опять охватывает прежняя радость. Личностно ипостасного бытия, а не собственно ипостасного моего нынешнего переживания самого себя. Да, я мог бы перечислять многих. Из тех, кто был меня близок, интересен, с кем судьба сводила меня в жизни. Тех, кого уже нет, с кем уже произошёл этот переход; с теми, кто уже переступил эту черту, предстоящую мне. Их много, потому что я всё же долгожитель. Я очень многих пережил. Они уже давно или недавно ушли, а я остаюсь. И это одиночество, ведущее к разговору с самим собою, ипостасно по сути своей, собственно ипостасно по своей сути. И оно либо открывает необычайную, несказанную радость вновь рождения и перехода, который вот-вот я вполне научусь делать, ещё не покинув своей земной ипостасной жизни. То эта радость охватывает, то она исчезает. И особенно к вечеру погружает меня в такой ад невысказанного, невозможного для осознания ипостасного переживания, что, кажется, может вполне отождествиться для меня сегодня и моё бытие, и моё небытие. Ещё предстоит мне в этом страшном ипостасном сознании вновь найти себя и обрести силы преодоления. И с этими силами довершить мой разговор с самим собой. Хоть поздно, но вступление к этому разговору всё же, я думаю, есть.

... Именно на этом последнем этапе ипостасной жизни предназначено пережить, не только как философию, но и как то, что осуществится – ипостасность бытия и небытия. Это самое трудное. На этом этапе. Не стоит погружаться в это постижение ни в период индивидуального торжества, ни в эпоху личностного самоутверждения. А вот собственно ипостасное сознание жизни должно прежде всего осознать это. Толстой не знал такого противоречия. Вернее, он знал, но изгонял всей силой и волей своего гения. В «Книге о жизни». Он потому и не допускал, не разрешал себе даже самый

термин «ипостасность». Не разрешал, не зная его. Но если бы даже и знал, он не употребил бы его. Да, ипостасность бытия и небытия – главная загадка именно на этом этапе. Что книги? Речь о людях. О том, как расстаться с ними навсегда – если ипостасности нет. И как вновь родиться и встретиться с ними, ибо она всё же есть. И я невольно верю в то, что она есть. И пусть последним вздохом этого вступления к разговору послужит еще раз перечтенное одно моё стихотвореньце. Оно об этом. Я думал о том, чтобы его написать, когда вдыхал в себя весенний запах яблоневых цветов у нас, там, в этой моей Низовской. И что? Неужели я никогда больше его не вдохну? Это так вероятно. Так возможно. Но в это вероятное не верится. И я вправе преодолеть это неверие, этот мой возглас «Боже, Боже. Зачем ты меня оставил?» силой, памятью веры, которая тогда продиктовала мне эти строки.

Благоухание простое.

Но я на описание скуп.

И вот пьянею от настоя

Цветов и яблоневых куп.

И обнаруживаю сходство

Часов испытанных и лет.

Наверно, здесь какой-то подступ

К тому, чего на свете нет.

И точно так, без перебоя,

Над неизбежной пустотой

Соединит меня с тобою

Вот этот лиственный настой.

И я каким-то чудом знаю,

Что, небытийно опростясь,

Его глотнет моя иная,

Моя земная ипостась.

15 ноября 2019

Итак, три степени проявления человека: индивидуальность, личность, ипостась. Это не возрастные категории, хотя они связаны с возрастом часто. Именно они отражают тот или иной возраст. Но по сути своей, они не

возрастные. Это именно степень проявления человека. И вот получается, смысл жизни в том, чтобы прояснить в себя ипостась будущей индивидуальности, став личностью. По Толстому, в «Книге о жизни» смысл жизни – увеличение силы любви и уменьшение степени нелюбви в человеческом «я». А здесь иное представление о смысле человеческого бытия – простое и, вместе с тем, запредельно сложное. Индивидуальность предвещает личность; личность утверждает индивидуальное, поднимая его на степень личностного и уже делая какой-то шаг, какое-то движение, какое-то органическое проявление, осуществляя – к тому, чтобы личность вышла за свои пределы. И будучи личностью, оставаясь личностью, стала ипостасью. Разумеется, ипостасное многое изменяет в личностном, а личностное – в индивидуальном. Эта формула очень проста, логична. И как только я вчера её высказал самому себе, мне стало легче. Хотя никаких решений, никаких спасительных движений не было совершено.

Но, видимо, ощущения правды, которая лежит в основе этой формулы, уже достаточно для того, чтобы на душе полегчало. И чтобы человеческое «я» преодолело то, что так навязчиво внушает возражающему. Да, я почувствовал себя значительно легче. Это формула для каждого человека, хотя, конечно, не каждый подымается до степени личности и, тем более, ипостаси. Поднимается своим сознанием, своим осознанием того, что с ним происходит и должно произойти. Потому что объективно он, конечно, если не ипостась, то существо, человеческое существо, подаренное ипостасностью, обрадованное ипостасностью. Любопытно одно, чисто литературное, казалось бы, сопоставление с этой формулой. И сопоставление это можно сделать, перечитывая, просматривая заново пушкинскую речь Достоевского. Достоевский не был литературоведом, но в пушкинской речи он выстроил некую гипотезу, сугубо литературоведческую и обоснованную научно.

Процесс становления Пушкина тоже проходит три стадии. Каждая из них предсказывает, предвещает последующую. А последующая как бы вырастает из предыдущей. Тем не менее, каждая из этих стадий, каждый из этих уровней проявления величайшего гения – сугубо оригинально, самобытно. Первая стадия, как мы помним, решение русских проблем, но в формах некоего ещё подражания Байрону. Так в «Цыганах» совершается суд над Алеко. И это решение русского вопроса: «Оставь нас, гордый человек. Ты

для себя лишь хочешь воли». Но осуществляется это с оглядкой на Байрона. Байронический способ высказать, провозгласить решение этого сугубо русского вопроса говорит ещё о каком-то предварительном, но уже обещающем многое, пока ещё подражательном этапе становления Пушкина. Следующий этап – открытие русских форм, для решения русского вопроса. И так он гениально, может быть, не совсем точно, но абсолютно верно, с необычайной глубиной раскрытия собственно проповеди Достоевского, проанализировал роман «Евгений Онегин». Противопоставив Онегина Татьяне, осудив в Онегине гордого человека и провозгласив в Татьяне великое, подлинно христианское начало; апофеоз русской женщины.

Но был и третий этап становления Пушкина. Это то, что после «Онегина» пришло, в тридцатые годы. Но было уже предсказано и на первом, и на втором этапах. Это всемирная отзывчивость, всечеловечность. Это способность почувствовать другие культуры, другие народы как свою собственную. И даже еще лучше, совершеннее, выразить эти культуры в художественных образах, проникнув в самую суть. В ту суть, которая не всегда прояснялась лучшими из писателей Запада. Европейским, восточным. Вот это способность почувствовать другие народы как свой. Перевоплотиться в них, усовершенствовать те формы, в которых в национальной культуре каждого из народов, в творчестве самых лучших творцов, самых лучших гениев национальных других стран, выразить это по-своему. И тем самым вернуться к себе и провозгласить принцип любви ко всем народам. Я думаю, что ясно, что первый этап, ещё подражательный во многом, связан с индивидуальным проявлением Пушкина. Ибо русский вопрос, русскую идею, хоть и в байронических формах, можно выразить лишь тогда, когда остро чувствуешь неповторимость твоего способа интерпретировать вечные или долговечные образы мировой культуры. А на втором этапе сугубо русские формы решения того же национального русского вопроса говорят об особой, мессианской роли великого поэта. Он становится евангелистом той идеи, которая воплощена в «Евгении Онегине». Достоевский превращал пушкинский роман в некое Евангелие. Прочитывал в строфах романа проповедь. Проповедь христианского мироотношения, воплощенного в Татьяне. Разумеется, здесь он ощущал Пушкина как своего предшественника, как поэта-проповедника, писателя-евангелиста. Всё это очевидно и связано, конечно, с личностным проявлением пушкинского гения, потому что именно

на этом этапе Пушкин становится, должен стать властителем дум и тем национальным поэтом, смысл творчества которого ещё будет разглядываться потомками.

Но что касается третьего этапа, то тут совершенно ясно проявление ипостасного начала. Ибо почувствовать другой народ как свой значит почувствовать, что национальное ипостасно. И только тот по-настоящему осознаёт себя ипостасью, кто может, кто призван, кто предназначен, оглядываясь на опыт других народов, применить к ним принцип христианской любви. Применить тем, что поэту оказывается доступно перевоплощение, эта способность быть собою и быть другим. Другим, таким, каким он может быть, осознав, воссоздав в своем творчестве национальную культуру других народов, их особенность, особенность их психологии, нравственности, образной природы, внесенной тем или иным народом в сокровищницу мировой культуры. Только тогда, когда ты почувствуешь себя способным быть другим, тем, кому ты проповедуешь, почувствовать его ещё лучше, чем он сам себя чувствует в своем национальном самобытном бытии. И вернуться к себе. Это и значит быть по-настоящему ипостасно христианином, евангелистом, обращающим свою проповедь уже не только своему народу, но и ко всему миру. Всемирная отзывчивость ипостасна. Я так торжественно, с такой интонацией провозглашаю эти совершенно ясные и не нуждающиеся в особом обосновании даже параллели. И то, как гениально Достоевский пересоздал Пушкина; то, как он показал вновь рождение Пушкина в его, Достоевского, проповеди и в его, Достоевского, писательской судьбе. Вот это гениальное истолкование, эта гениальная интерпретация может быть понята не столько как историко-литературное, верное воссоздание Пушкина.

А то, как отзывается творчество Пушкина и может быть таким отзвуком в опыте человечества, в опыте его потомков. И не только русских, ибо христианское начало всемирно и требует всемирной отзывчивости. А то, что Христос ипостась, сообщает этому учению, этой интерпретации, этому пресуществлению, евангелический характер, евангелический смысл. И одновременно пушкинская речь Достоевского, с этой точки зрения еще не оцененная, как мне представляется, одно из величайших достижений нашей культуры. Нашей духовной культуры. Где на равных, паритетно, предстают религия, наука, искусство как ипостасное проявление единой культуры. Я

пока ещё не очень знаю, какие последствия для меня будет иметь это. Ну да, что-то вроде открытия, которое я обнаружил недавно. Вчера вечером. И сказал себе, что как только я встану утром, я попытаюсь это изложить самому себе. Я изложил плохо, еще по-настоящему не владея этой евангельской сущностью пушкинской речи. Не владею ею как проявлением ипостасного воздействия на читателя. Не как публицистической проповеди, христианского, почвенического начала у Достоевского. Нет, эта речь вызывает в человеке другое. Она помогает самому определению ипостасности как одного из проявлений человека; как того проявления, в котором есть смысл всего явления человеческого в мир.

Ибо именно третий этап, третий ипостасный уровень проявления пушкинского гения говорит, как можно и как нужно личности выходить из своей оболочки. Не закреплять эту оболочку внешними формами. Вот тем, что Пришвин называл той оболочкой почки. В стихотворении «Любовь», стихотворении в прозе, он прямо говорит о том, что вот мы, собственники заключённой природы, мы всю жизнь тратим на то, чтобы наша почка не лопнула. Но как ни пытаются люди заморить заключённую в себе жизнь, приходит весна, почки лопаются, зелёное содержимое выходит на свет. И мы же, заскорюзлые собственники заключённой природы, называемой телом, приходим в восторг. И это чувство свободной жизни называем любовью. Да, я объяснил самому себе, почему мне стало так легко, хорошо на душе. Несмотря на то, что я чувствую почти физически, как вот-вот лопнет моя почка, моё личностное самоуглубление, личностное самоограничение. И то, ради чего личность предстаёт как ипостась, выходит на свет, освобождает себя. И как прекрасно то, что это чувство свободной жизни мы называем любовью. Пришвин, разумеется, не соотносил это ни с пушкинской речью, ни с проповедью ипостасности. Но он оказывается одним из тех, кто прекрасно обосновывает эту триединую формулу осуществления человека. Смысл человеческого бытия. Который в Пушкине проявился так прекрасно. И, может быть, даже не вполне разгаданный самим Пушкиным, предназначен для того, чтобы его разгадывал Достоевский. И те, кто последует за ним по тому же пути ипостасного евангельского самораскрытия.

16 ноября 2019

Пушкин не пользовался термином реализм. Вместо этого более позднего термина, которым и Белинский не пользовался, Пушкин по-своему обозначал свой метод как истинный романтизм. И вот с этой точки зрения интересно проследить и пересмотреть кое-что, читая «Евгения Онегина». Роман, посвящённый, конечно, личности, в первую очередь, личности. Но личность там предстаёт в нескольких проявлениях. Сентиментальное, связанное с Татьяной (тут мне придётся немножко разойтись с Достоевским). И исповедующий совсем другой романтизм, титанический романтизм байроновского характера, Онегин. Татьяна, побывавшая в кабинете Онегина, поняла и не приняла этот байронический романтизм своего героя. Но в романе «Евгений Онегин» есть и третий герой. И об этом уже многие, многие и многие писали. Достоевский, кстати, об этом всё-таки не упоминал. Этот герой – герой лирических отступлений. Здесь спорят, можно ли считать этого героя автобиографическим персонажем, самим Пушкиным. Либо это особый герой, который отличается от автобиографического, автора романа. Или особый персонаж лирических отступлений. Я думаю, что вот эти три проявления одного героя, лирического героя романа, в общем-то сближаются. Условно выражают одно – начало мироотношения, которое противостоит во многом и сентиментализму Татьяны, которая до конца дней своих останется верна своим сентиментальным романам, книгам, и поступает с Онегиным в соответствии с сюжетами этих книг: «Я другому отдана, я буду век ему верна». И Онегину противостоит лирический герой. И противостоит уже не истинным романтизмом, а чем-то особым в мироотношении, которое может быть названо реалистическим взглядом на мир. Реалистическим методом, реалистическим способом самовыражения. И реалистическим – в смысле полноты ипостасного самоутверждения и самовыражения.

Мне думается, что вот такая версия может быть рассмотрена и может быть даже и доказана. Причём, проблема ипостасности отсутствовала в сознании Пушкина, отсутствовала и в сознании Белинского, которой истолковывал роман, и даже у Достоевского не возникала. Она воспринимается, может восприниматься как некая, сам себе скажу, объективная закономерность, которая даёт случай постичь, открыть для себя

читателю пушкинского романа, исследователю, историку литературы. Не только с Пушкиным, почти со всеми лучшими писателями золотого века русской литературы, да не почти, а – со всеми произошло то, что мне открывается, и то, что я не побоюсь всё-таки признать как свершившееся для меня некое открытие. Дело ведь не в том, как назвать то или иное особое свойство в мироотношении, в миропонимании, в религиозном, философском и художественном отношении к миру. Конечно, это имеет для меня значение. Но самое важное – постичь сущность этих противостояний в романе «Евгений Онегин». Он даёт полную, всестороннюю, уравновешенно полную картину самовыражения Пушкина, который учитывает историческое, психологическое развитие культуры духа в опыте лучших людей времени. Созданных его воображением, но вобравших в себя опыт многих, кого Пушкин знал и любил. Это, действительно, в этом смысле, энциклопедия русской духовной жизни. И при этом противопоставление Татьяны Онегину. Онегин лирический герой. Эти противопоставления – ипостасные. В них чрезвычайно много общего. Они тяготеют друг к другу. Они, по сути, не могут друг без друга в этом романе. Пушкин так кончает его: «Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина. Кто не дочел его романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим». Не с Татьяной, не с кем бы то ни было ещё, не с Ленским, тоже занимающим определённое место в этой градации героев. А именно с Онегиным. И он называет его «моим Онегиным». Но Достоевский по-своему прав, говоря о Татьяне как об апофеозе русской женщины с тем особым христианским мироотношением, которое особенно ярко и ясно проявилось в финале романа.

Дело в том, что это христианское начало жило в сентиментализме, в тех же сентиментальных книгах, которые так любила Татьяна. «Она влюблялася в обманы и Ричардсона и Руссо». Обманы Ричардсона и Руссо. Но эти обманы были исполнены высокого христианского значения, смысла. И Пушкин прекрасно показал то, что Татьяна – не просто какой-то этап развития русского духа, а ипостась в этом живом, несказанно не уловимом в слове, но гениально выраженном Пушкиным движении духа. Татьяна уже предвещает Онегина, Онегин предвещает Пушкина. Вот это удивительное единство героев, при всём их расхождении, если мы не хотим допускать явных ошибок в истолковании романа, может быть понято и объяснено именно с учётом

ипостасного принципа, ипостасного метода оценки и анализа. Опять же, не побоюсь это сказать. И это то, что позднее не совсем точно будет названо, обозначено термином «реализм». Но дело в том, что реализм и ипостасность это не тождественные понятия. Одно было вместо другого. Одно было попыткой осознать то, что другое, с моей точки зрения, выражено наиболее полно. И если это действительно так, то какая великолепная возможность возникает в пересмотре истории литературы. Как по-новому совершенно будут открываться те моменты, те нюансы, которые при использовании термина «реализм» ускользали, не были на первом плане. Ибо ипостасность предлагает связь и с религиозным, и с философским, и с эстетическим началом, с художественным началом восприятия и самого себя, и мира у писателей наших. Писателей, представляющих наш золотой век литературы. Вот почему так много было споров о реализме.

Вот почему Лотман на защите своей докторской диссертации отказался даже считать реализм термином. Поскольку термин есть слово, в значении которого все условились. Разнобой в истолковании термина «реализм» доказывает, что это не термин. Но что касается ипостасности, то этот термин исповедую только я. В этом отношении для науки пока это термин не принятый и не признанный и ничего не значащий. Но если бы у меня были силы, если у меня был достаточный запас молодости, которую я в себе ощущаю, но которая приходит в противоречие с моей физической немощью сейчас. Вот если бы был этот достаточный запас молодости, я бы, может быть, отдал жизнь тому, чтобы это развернуть, обосновать, доказать. И доказать на примере лучших писателей золотого века. И потом продвинуть это, по возможности, мощно продвинуть в век двадцатый. А если я при этом был бы современником сегодняшних событий и состояний в истории, духовной истории России, то особенно точно можно было бы этой применить к сегодняшнему времени. Сегодняшнему опыту литературы: и к постмодернизму, и к тому, что приходит и уже пришло ему на смену, но еще не имеет терминологического обозначения.

Пока для себя я это обозначаю, как ипостасный реализм. Кстати, Виктор Кречетов в своей статье обо мне употребляет этот термин. Может быть, отчасти цитируя меня, когда-то он об этом слышал. И наверно, неоднократно так условно его использовал. Но термин «ипостасный реализм» чрезвычайно богат. Он раздвигает границы того ареала, который

обычно связывают с реализмом. Он выводит изображение реальности в другие миры и сферы. В те миры, до которых ещё наука не добралась. И будет добираться, я верю в это. Те сферы, куда имеет доступ религиозное предчувствие или интуитивное знание. И то, где художественно пока ещё ничего не сотворено. Не могу же я считать мои повести и поэмы таким осуществлением. Вернее, я могу считать, но это только я так считаю. Или мог бы считать в разговоре с самим собой. Я не смогу даже объявить об этом от своего имени, широко обращаясь ко всем заинтересованным в проблеме. Да, не смогу. Но внутренне, для себя самого, я считаю так. И вижу необычайное богатство возможностей, которые этот термин обещает и открывает. И опять же, роман «Евгений Онегин», рассмотренный под этим углом зрения, будет самым важным моментом в создании этой системы. Тем более, что опять, вероятно, и мое истолкование окажется неполным. Пушкинский роман опять ускользнет от полноты, исчерпывающей полноты анализа. Зайчик опять окажется поверх ладони. Но пока именно этот подход, именно эта мысль, эта попытка предельно близко, душевно неотрывно выразить через себя своё читательское переживание, связанное с Пушкиным, даёт мне радость, даёт мне новое подтверждение того, во что я верю, что мог бы исследовать и что мог бы воплотить как художник слова.

У нас писали о том, что символизм это не только литература и философия. Это сама жизнь. Символисты жили, поступали по отношению друг к другу, умирали как бы под знаком этой символистской мифологемы, которая становилась и способом жизни, и методом жизни, и стилем жизни. Не знаю, насколько, скажем, акмеизм был таким же по отношению к жизни. Тут стоит посмотреть и, наверное, есть тоже некие связи. Но футуризм, по крайней мере, в той жизни, которая публично проявлялась, полностью отвечал эстетике и философии, интонациям футуризма литературного. Но дело в том, что любое литературное направление, как мне кажется, имеет такую же взаимосвязь с жизнью. Во всяком случае, романтизм, предшествующий ему сентиментализм полностью отвечают этому. В романе «Евгений Онегин» эта смена направлений, смена методов жизни показана прекрасно. Татьяна – и в период, когда она была полевым цветком деревенской жизни, вдали от города; и когда она явилась в светском обществе законодательницей зал и при этом была верна своим прежним идеалам и своим прежним книгам и авторам. И так и не приняла другую

систему, с которой она познакомилась в кабинете Онегина. Вот Татьяна была воплощением, реальным воплощением этой сентиментальной, нравственной, эстетической литературной мифологемы. И несмотря на то, что Пушкин сам удивлялся тому, что произошло с Татьяной, когда она выскочила, как он выражался, замуж и когда она отказала Онегину, только что проливая слёзы над его письмом, – она поступила только так, как могла поступить. Верная собственно сентиментальному мироотношению, миропониманию и определяемому литературой строю душевно-культурных отношений в собой себе и между собой и другими людьми. Она осталась чуждой и тому свету, в котором была законодательницей, стала законодательницей. «А мне, Онегин, пышность эта, постылой жизни мишура, мои успехи в вихре света, что в них?» Иными словами, несмотря на некоторую неожиданность финала, несмотря на то, что до сих пор идут споры об этом финале, мы пытаемся разгадать загадку отказа Татьяны. Здесь всё ясно. Здесь жизнь отвечает литературному идеалу. И не потому что жизнь литературна. Она сама по себе, она подчиняется своим законам, она не совпадает с литературным опытом, с опытом литературных героев.

Но здесь имеется именно ипостасная взаимосвязь. И опять же, это понятие, о котором я в моём разговоре с самим собою всё время думаю и пытаюсь что-то сказать, что-то сформулировать, именно это понятие позволяет объяснить эту сложную взаимосвязь. Жизнь не теряет своей автономности при ее соотношении с литературным стилем или стилем жизни литературных героев. Да, здесь есть своя автономия. Даже некоторая несоизмеримость опыта жизни и литературы. Но ипостасная взаимосвязь присутствует. И так же и дальше. Пушкину не очень был близок немецкий романтизм. Он прекрасно знал о том, что это такое. Знал и о его предшественнике – Гете. Ибо создал «Сцену из Фауста», а потом писал, пытался писать «Адскую поэму», где Фауст был один из героев. Знал, конечно, и о Шиллере, знал и о немецких романтиках. Потому что он был дружен, духовно связан с Жуковским, который необычайной глубиной своей лирики, своей поэзии соприкасался с опытом немецкого романтизма. И таким образом явился Ленский в романе, под небом Шиллера и Гете. И всё, что там сказано о его представлениях о жизни (то, что я не буду сейчас цитировать), все точно соотносит, ипостасно соотносит литературное представление о жизни, о смысле жизни и смерти, и реальную судьбу

Ленского, и самую его смерть. И даже его, почти пародийно написанную Пушкиным предсмертную элегию. Онегин поступает точно так же. Под знаком уже не Шиллера и Гете, а Байрона и других авторов, труды которых он так внимательно читал: «Хранили многие страницы отметку резкую ногтей».

17 ноября 2019

Вот что я тебе скажу. Твоя вера в ипостасность, помимо того, что это вера несбыточна, реальность проще и страшнее, эта вера, помимо всего, парадоксальна в смысле нынешнего постмодерна, ещё не вполне ушедшего. Ты называешь это ипостасным реализмом, а проще назвать апологией постмодернистских абсурдов. В самом деле, если добро это созидание, творение бытия, сотворение бытия в различных формах, проявлениях, то зло, как полагали древние, это разрушение, уничтожение, стремление к небытию. И тогда получается так: добро ипостасно злу. Зло ипостасно добру. И чем это верование отличается от новооткрытий постмодернизма, которые как раз и поставили знак равенства между злом и добром. Да, ты не ставишь знак равенства, будем точны. Ты говоришь об ипостасности этих противоположностей. Но не страшно ли звучит формула: зло ипостасно добру. Ещё страшнее: добро ипостасно злу.

Я даже и не заметил, как проснулся Противоречащий. А я ведь не спал сегодня всю ночь, ворочался, пытался заснуть. Но думал как раз об этом, о том, что говорит он. И в течение ночи не пришел ни к какому выводу. Потому что вывод – это когда говоришь всё-таки, говоришь, как будто обращаясь к кому-то, к тому, кто спрашивает. И тут нужно дать ответ. Противоречащий не спрашивает, он противоречит. В этом его назначение. Но и, потом, он тоже моя ипостась, пусть и воображаемая, но ипостась. Если его нет, нарушается принцип ипостасности. Так вот, всё-таки, как же ответить самому себе и тому, кто спрашивает. Да, ипостасность вызывает не только благодарное чувство радости, но также и страх и даже, не побоюсь сказать, живую ненависть. Ну не могу сказать, что это моё новшество, что это некая такая новация, какой не было в мифологиях прежних веков, у других народов. Вернее, у всех народов в эпоху язычества. Древнее индусское тримурти, Брахма, Вишну, Шива, и предполагает в качестве ипостаси бога-разрушителя, Шиву. Об этом

мы уже говорили. Но и христианская Троица не только радует, не только внушает благодарную надежду, но и страшит. И суд, который будет совершён Богом-сыном, будет вершиться и Богом-отцом, и Святым духом. Ибо они ипостасны отцу – и сын, и дух. Так что в этом ничего нового нет. Все языческие боги – не только силы, к которым обращаются за помощью с молитвой, но и страшщие человека надчеловеческой силой. Ну, а что касается моего представления об ипостасности и того, насколько может сбыться то, во что я верю, странно немножко на этот вопрос отвечать. Ипостасность всегда была, насколько я могу сказать о том, во что верю. Она не должна сбываться, потому что она была, есть и будет в соответствии с этим верованием.

Но вот всё же, как это верование поможет отодвинуть добро от зла и зло от добра. Это как Микеланджело изобразил на одной из фресок Сикстинской капеллы – сотворение, отделение дня от ночи, света от тьмы. Бог разводит руками Тьму и Свет. Как это сделать? Это делается естественно. Вроде бы, просто. Ипостась предполагает разграничение. Она, с одной стороны – тождество. С другой стороны – разграничение. И кроме того, взаимопереходность. Тождество есть неразличение добра и зла. Это одно из очень интересных, сложных, загадочных свойств ипостасности. И об этом можно поговорить, хотя мы уже касались этого вопроса раньше. Разграничение совершенно естественно. Вот здесь ладонями в разные стороны и нужно развести зло и добро. Но вот взаимопереходность опять, вроде бы, соединяет то и другое. Причем, добро оказывается в какой-то момент злом, децентрируется в зло и потом возвращается к себе. И вновь становится благом. Как это может быть? Возможно ли такое? А если возможно, то в чём же его смысл, этого возможного? Да, мы читаем и у Пришвина, и у Булгакова о том, что мы живы благодаря теням. Да, благодаря теням. Но тени мы не благодарим, и всё дурное называем теневой стороной жизни, а всё доброе – стороной светлой. Это я почти цитирую Пришвина из его книги «Глаза Земли». Если бы не было тени, всё бы сгорело. Образ этот есть и у Булгакова в «Мастере и Маргарите». Это Земля укрывает жизнь своими тенями и тем спасает её от сгорания на солнце. И поэтому тени, тени земной мы обязаны жизнью. Но так устроена жизнь, что всё живое тянется к свету. Это опять цитата из Пришвина. Это известно давно. Это не только Пришвин и Булгаков сформулировали. Это есть в «Фаусте» Гете. Где жизнь,

там светотень. И об этом мы даже когда-то, месяц назад или больше, целое стихотворение читали вслух и анализировали. Я с Противоречащим – мы. Но можно ли уподобить светотени ипостасность? В том случае, когда речь идет об ипостасности зла добру и добра злу. Ведь всё-таки всё живое тянется к свету. А если мы поставим не знак равенства, нет, а вот какой-то особый знак, знак, обозначающий какой-то особый символ, означающий ипостасность. Я пока ещё не придумал этот символ, этот значок. Вот если мы поставим его между добром и злом, не уравновесим ли мы тем самым то и другое?

К чему стремится ипостасная жизнь? К тому, чтобы вновь и вновь возвращаться к благу, созиданию бытия, или к тому, чтобы всё время, каждый шаг, каждое мгновение уничтожать созданное? Ведь мы уже говорили о том, что движение ипостасно, время ипостасно и ипостасно пространство, в зависимости от времени. А время и движение, являя миру вновь рождённое бытие каждую секунду, каждую же секунду уничтожает предшествующее, то, которое только что было. И вот в этой смене и воплощено движение. Это всё дважды два. И нам уже приходилось об этом говорить. Сейчас хочется уточнить, не производим ли мы уравнивание этих противопоставленных друг другу начал? Вот всё же в древнеиндусской тримурти, этой троице, боги так или иначе уравновешены. Настолько уравновешены, что Вишну или ипостась Вишну Кришна соединяет в себе функции сохранения мира и его разрушения. Вспомним из «Махабхараты» вселенскую форму, которую Вишна явил Арджуне. Там идёт это уравнивание, там оно происходит, там даже соединяются в одном, в одной ипостаси. И вот получается, что в моём представлении об ипостасности добро и зло не отождествляются, хотя есть желание их отождествить, их не различать. Они не отождествляются, и они не просто противопоставляются. И не просто они взаимопереходят друг в друга и потом возвращаются к себе. Они, как предельно разные проявления божественной силы, соревнуются. – как может соревноваться зло и добро. Всё живое всё равно будет тянуться к благу, ибо предпочитает благо. За исключением тех случаев, когда кто-то из живых предпочтет зло. Но даже предпочитая зло, он не может уйти от блага. Ибо будучи ипостасью, зло несет в себе начало самопреодоления, оно применяет к самому себе принцип отрицания, уничтожения. И уничтожая себя, небытие становится

бытием, становится творчеством, созиданием, благом, добром. Об этом уже приходилось говорить.

Сейчас важно уточнить другое. Действительно, для того, чтобы ипостась вновь родилась, нужно, чтобы она умерла. Но если ипостась может вместить в себе то, что выходит за пределы одной ипостаси, то, что охватило бы целый ряд, целую бесконечность сменяющих друг друга ипостасей, зачем ему умирать. Вот в этом сущность проблемы. Либо довериться общему закону бытия и небытия, по которому даже небытие оказывается творческим началом, коль скоро к себе применяет свой же принцип отрицания. Так вот, само небытие оказывается божеством, творящим бытие. Как Бог отец, который по апофатической богословской философии не существовал в бытии, когда творил бытие. О нём нельзя было бы сказать «Бог есть», потому что есть то, что включается в бытие. А Бог был до того, как бытие было сотворено. Так вот, вопрос заключается в том, довериться ли естественному закономерному чередованию, переходу одной ипостаси в другую, предполагающему смерть ипостаси ради ее вновь рождения? – о чём уже очень много говорили. Довериться ли этому, или, собрав, не сейчас, но в будущем, все силы, весь гений, всю великую возможность, которую может явить миру и самому себе человек, человечество, – исправить, скорректировать этот закон? «Законы тоже изменяются в живой природе», – сказал Пришвин, не соглашаясь с Гете. Но законы меняются не только в природе живой, но и в том опыте человеческого созидания. Если представить себе бесконечность будущего и бесконечность возможностей человека, то можно поверить в то, что такие изменения, исходящие уже не от самой природы или божества, а человека (в соответствии с его волей, с его возможностью, с его верой в эту возможность), что эти изменения осуществляются. Тогда будут возможны самые, казалось бы, невозможные чудеса – и возврат времени, и вновь рождение того, что уже было. В том состоянии, в каком это было в прошлом. И возрождение, опять же ипостасное, возрождение умерших ипостасей, которым не обязательно переходить в другие ипостаси, ибо они обладают мощью воплощения своих возможностей в оболочке этой данной ипостаси. Если условно, конечно, можно так сказать. Всё это только черновые экспромты. Вот можно в это поверить, и тогда вопрос может быть решен верой. Насколько эта вера сбудется, это особый вопрос. Вера может сомневаться в том, что сбудется то,

чему она посвящена. Может не сомневаться. Вера может кончиться. Вера может не умирать, а только собирать новые и новые силы, утверждая себя. И человек вправе делать свободный выбор между великой, полной надежд и веры радостью, которая будет, возможно, подтверждаться и научным опытом. И обгоняющим науку опытом искусства. Между этой радостью и абсурдом неверия.

Итак, несмотря на то, что зло, и впрямь, ипостась блага, не побоимся всё-таки так сформулировать, внося в эту формулу тот смысл, о котором шла речь. Так вот, если зло и в самом деле ипостась блага, то эта ипостасная связь между ними пробуждает естественное, глубокое, резкое разграничение добра и зла. И при всём опыте взаимопереходности добра и зла – никогда для подлинно верующего в ипостасность человека, никогда не произойдёт смешение добра и зла. А наоборот, это способ глубочайшего разграничения их, глубочайшего разграничения. Такого разграничения, при котором не будет нарушена правда. Ведь есть случаи, когда зло помогает благу; есть случаи, когда, оно, напротив, категорически противостоит добру и заслуживает ненависть. Есть случаи, когда зло оказывается благом. Есть бесконечная градация и разнообразие этих ипостасных свойств зла по отношению к добру. Ни одно из этих свойств, когда мы противопоставляем добро и зло, не должно быть упущено. Ни одно из них нельзя забывать и тем самым упрощать. А упрощая, уходить от блага в сторону зла. Ибо та или иная форма поэтизации зла или абсолютизации зла, признание его конечным плодом и итогом, любая форма такого предпочтения, которые человек вправе совершать и часто совершает, есть уход от правды. От той большой, трудно постижимой и всё-таки предназначенной для человека, для его сознания, правды. Вот я попытался ещё, ещё раз сегодня утром, после бессонной ночи, когда язык заплетается, я не могу точно сформулировать свою мысль, только намёком бросая её, в ответ тому, кто ждёт ответ. Пытаюсь, пытаюсь всё же дать ответ. И вдруг я замечаю, что Противоречащий, оказывается, тоже невольно ждал какого-то ответа. Он ждал ответа и вряд ли этот ответ получил. Иными словами, он благодатно возвратился ко мне. И сюжет моей ненаписанной повести будет продолжен.

... С конца пятидесятих годов прошлого века я был учителем. Да, школьным учителем литературы и русского языка. И в общем, в течение многих десятилетий, сам того не зная, старался пробудить очень бережное и

требовательное отношение к индивидуальности каждого ученика. Ещё более требовательное, императивное, требование к личности, которая вырастает из индивидуальности, сохраняя в себе индивидуальность. И как высшее раскрытие личностного, преодолевающее противоречия, связанные с личностным самоутверждением, старался пробудить то, что сейчас называю ипостасностью. Тогда я не пользовался этим термином. Но вот серьёзно спрашиваю себя на своем ежедневном, ежеутреннем страшном суде: где я больше всего преуспел, и как сейчас вот выглядит этот многолетний, многодесятилетний труд. Дело в том, что, как бы я ни проповедовал на уроках литературы, какие методики я бы ни вводил, ставящие ученика в предельно активную роль на уроке, жизнь работала на то, чтобы выявить и защитить собственно индивидуальное начало. Не столько личность, сколько индивидуальность. Я пробуждал, пытался пробудить личность, а на самом деле шла борьба за индивидуальность. И часто индивидуальным началом и ограничивалась. Уже тогда, в самом начале шестидесятых годов, когда я начал работать в 30 школе, я чувствовал, очень любя учеников и очень ценя их индивидуальное многообразие и самобытность, уже тогда, повторяю, я чувствовал, что собственно индивидуальное, ограничивающее себя лишь этим проявлением, если возобладает оно в растущих людях и победит в становлении народном, то вместо народа будет складываться народонаселение. И в итоге это приведет к катастрофе. Я пытался об этом так или иначе говорить на уроках. Иногда читал свои стихи. Не понятные многим ученикам, поскольку в них звучал такой апокалиптический мотив, который был абсолютно непонятен в начале шестидесятых годов. Немножко более понимался позднее. Но тогда я уже в школе появлялся на отдельных уроках, ибо больше занимался научной работой по андрагогике и филологическими трудами – издание Державина.

Но всё равно учителем я оставался. Постепенно я делал какие-то шаги к тому, чтобы то, что писал в это время и откладывал в стол, понемногу приоткрывать другим людям. Кое-что читал. Да, эти стихи были непонятны. Печатать их я не хотел. Да их и не напечатали бы. Требовалось другое. Казалось, что борьба за индивидуальность вполне исчерпывает задачи гуманистического преподавания. Тогда психологи даже отождествляли понятие личность и индивидуальность. Я не очень тогда пользовался этими терминами. Но понемногу возникал не антагонистический, не враждующий,

но всё же конфликт между мной и временем. А что касается ипостасного начала, то оно в скрытой такой форме, лишь иногда в интонациях проповеди прорывалось. В это время я много писал. Постепенно складывалась поэма «Данте». Там я пытался выразить себя вполне. И принципиально не думая ни о какой печати. «Ведь я мой труд кончал неоднократно и до сих пор не отдавал в печать».

Время пришло, катастрофа совершилось. А сейчас то, что тогда выглядело странным, требующим каких-то особых объяснений, эти апокалиптические мотивы становятся более ясными, понятными, даже вполне понятны. И вот я опубликовал сначала поэму «Данте», а потом пошли публикации. Их много. И вот в книге «Преодоление» собраны почти все циклы стихов, которые сложились в поэмы. Кое-что я написал этим летом. Но в общем, всё или почти всё опубликовано. И до сих пор всё равно вот эта триада: индивидуальность-личность-ипостась требует особого разговора и особого обоснования. Личность. Да, стали различать между личностью и индивидуальностью. Забота об индивидуальном начале в человеке – принципиально, чрезвычайно важная. Несколько опасливое настороженное – воспитание личности в индивидуальном человеке. И совсем, как кажется, нездешняя благая весть о человеке-ипостаси – сегодня для меня предстает как некая важнейшая задача. И в публицистике, и в науке, в истории литературы. Ну, и в художественном опыте. Там вот я попытался делать нечто такое, что было названо ипостасным реализмом. Не будем сейчас настаивать на какой-то терминологии. И не стану сейчас изъяснять свои повести, романы, которые вышли из печати. Понемногу критика до них будет добираться, уже сейчас добирается.

Мой большой друг Юван Шесталов, мансийский великий поэт, понял мою проповедь ипостасности. Понял по-своему. У него своя версия, но всё же она расходится с моей. Попытка отчасти вернуться к язычеству, с использованием неких приемов шаманизма в искусстве слова, в стихах и в прозе этого замечательного писателя и поэта русскоязычного и писавшего на мансийском языке, ставила невольно автора в особое положение. Положение лидера, положение гуру, положение шамана, духовно очищающего тех, кто к нему обращался. Именно так, под этим знаком, под знаком этих идей он задумал выстроить особое урочище в 30 км от Ханты-Мансийска. Там были выстроены некие сооружения, где поэт-шаман мог

очищать. В том числе, и сильных мира сего. Чтобы они, очистившись, могли бы вернуться в политику, общественную жизнь и продолжить своё поприще, уже не чувствуя груза своих прегрешений и преодолённых слабостей. Там где-то, на берегу широкого многоводного ручья Шесталов даже хотел прорыть некое подземельное помещение как кабинет для меня. Чтобы я так или иначе участвовал в этом действии, очищающем сильных мира сего и бессильных в сем мире. Мы с ним задумали и Академию сознания природы. Я написал устав этой академии. Вроде бы, эта Академия существует. Сейчас, после смерти Шесталова, я должен был бы как-то её организовывать как вице-президент этой академии.

Но любопытно, мы редко говорили с моим другом о тех различиях, которые существовали между его, во многом языческой и вместе с тем предельно современной, по возможности, версии шаманизма, и моей верой в ипостасность. Я очень жалею, что не успел по-настоящему поговорить с ним обо всём том, что так или иначе было тронуто в этом разговоре моем с самим собой. Признаюсь, что думал о Шесталове почти каждое утро, начиная этот разговор. Как я хотел и хочу, чтобы он услышал то, что я пытался сказать себе самому. Он ведь, почти ровесник мне, был уверен в том, что смерть его не коснется. Что раз ему выпала особая миссия быть учителем жизни, быть проповедником сознания природы, он даже думал, что это учение вберёт в себя христианство, но во многом заменит его. Как оно соотносится с ипостасным видением мира, христианским по преимуществу?

Я очень хочу, чтобы он это услышал. Смерть неожиданно застигла его. Но у меня такое чувство, что всё равно его необычайная, полная свежих физических и духовных сил воля и сейчас пробивает эту грань, которая невольно природно встала между нами. Я и сейчас чувствую, что он слышит и веду этот разговор с собой, как с ним. И пусть он услышит эти мои слова. Я думаю, что так оно и будет. В повести «Правитель» образ мансийского поэта, друга моего, возникает. Он как-то очень сложно соприкасается с персонажами этого романа. Но я ещё мало написал и сказал об этом человеке. Есть стихи, ему посвящённые. Есть те стихи, которые он сам просил, чтобы я ему их посвятил, что я и сделал. И в последней, в этом году вышедшей книге «Притчи», в том, восполненном варианте, который издан именно в этом году, там многое ему посвящено. Там начинается со стихов, обращённых к нему, уже после его ухода из жизни. Получается так, что вся

эта большая книга, включающая в себя и несколько поэм и несколько повестей, и два романа, что эта книга вся посвящена ему. Вся вырастает из моего с ним разговора. Но разговор этот приходит сейчас, когда книга уже вышла. И я очень хочу продолжить этот разговор и убедиться в том, что он, Юван, всё-таки слышит меня.

18 ноября 2019

Слышит или не слышит меня Юван, ушедший недавно из этого мира? В один из возможных непроявленных миров. Я не мистик. Быть в плену у мистицизма человеку, у которого на равных, паритетно, беседуют религия, наука, искусство, невозможно. И верование такого человека, а я такой, ипостасно по отношению к научному знанию, художественному пресуществлению миров. Но отрицание непроявленных миров не может быть признано завершённым, окончательным. Научное знание здесь, как и во многих других областях, неполно. Оно стремится к проверенности, точности, но оно обречено на неполноту. Вообще мне кажется, именно такое соотношение духовных сил в сознании человеческого «я» было бы совершенно точным, правильным и необходимым для очень многих. Для всех моих современников и будущих современников. Тех, кто является таковыми сейчас для меня. Я бы положил в основу просвещения, образования, воспитания – вот этот принцип. Так что ощущение, религиозное ощущение того, что Юван меня слышит, не может стать для меня навязчивой идеей. Насколько это возможно, буду проверять это. Для меня это очень ограниченная возможность. Будет ли когда-либо вообще это научно точно проверено? Во всяком случае, именно такой смысл вложен в этот мой вопрос: слышит он меня или нет. Но какое-то чувство мне подсказывает, что слышит. Так сильна была его духовная воля. Он ведь и сам шаман был. И дедушка его был настоящим шаманом. Он и вел себя порою как шаман, великолепно владея собой, разумеется. Но в какие-то взрывные моменты жизни, спора, общения он мог стать тем самым подлинным шаманом, каким он по природе и был. «Если надо, я торнадо», – однажды зарифмовал он. Он знал, что эта его способность вот так взорваться, налететь такой бурей на того, на кого он хотел подействовать силой своего шаманизма, на меня не распространяется. Может быть, потому что и во мне он признавал шамана.

Как-то, это было в Ханты-Мансийске, на одной из конференций. У меня был доклад, и Шесталов сидел в первом ряду и был одним из слушателей. Там я читал и стихи свои. Некоторые из них он попросил, чтобы я ему посвятил. После того, как их услышал. Но потом он говорил мне о том, что я себя...

19 ноября 2019

Но по порядку. Стихи, которые он услышал в Ханты-Мансийске, я ему посвятил. А вспомнил я о конференции только потому, что он, внимательно слушая меня, потом сказал мне, что я тоже шаман. У самого Ювана ведь дедушка был шаман, настоящий. Да и сам он был подлинный шаман, знал эту свою особую силу. Временами взрывался где-то вот на той грани, когда человек становится вполне шаманом. Это не так уж важно сейчас. Я вспоминаю лишь потому об этом, что понимаю его состояние. Если сам я немножко тоже шаманом оказался в его глазах, значит, мне изнутри понятно, отчасти только понятно, что это такое. Мне понятно его шаманское амплуа в лучшие минуты, когда он по-настоящему становился великим. А ему, Ювану, оказалась понятной и близкой та заветная тема, идея, мысль, та вера, которая у меня связана с ипостасной силой и проявлением всего живого. Хотя вот я не пользовался в разговоре с ним этим термином. И мы, к сожалению, с ним его не обсуждали. Но это, видимо, было потому, что мы не хотели, ни он, ни я, как-то добраться до тех моментов, где мы расходимся. Ему было важно то, что мы сходились. Родственно, духом своим и он, и я, были неразрывно близки друг другу, понимали друг друга. А то, в чём мы расходились, было как бы для него неважно. Он называл нашу дружбу гениальной. Это его слова. Я вспоминаю сейчас не для того, чтобы каким-то образом возвысить наши чувства и моё дружеское к нему внутреннее состояние, расположенное к нему. Это уже, один раз посетив меня, мою душу, так и останется со мной до конца. Просто это говорит о степени любви, дружеской любви, которая была между нами. Да и тогда вот, на этой ханты-мансийской конференции, где он, вроде, впервые во мне почувствовал шамана, я говорил о христианстве всё же, как о степени любви. Это особая совершенно степень любви. То есть уже тогда я говорил, вроде, о том, что нас разъединяло. Но он в этом слышал то, что соединяет нас. Нас...

А вот теперь несколько слов о том, на чём я оборвал свой разговор вчера. Об этом удивительно близком мне и неожиданно совершенно проявившемся в нём фаустовском начале его души. Шаман шаманом, но он был и всечеловеком. И вот его идеи, его версия, его религия, его шаманская миссия, как он понимал это, связанная с учением о космическом и планетарном сознании, соотносима с гетевским Фаустом. Тем более, он очень чтит Гете. В отличие от меня, был гетеаном (?) и вообще чувствовал весьма фаустовскую проблематику применительно к себе.

Ну, мы помним, как в первой сцене первой части трагедии у Гёте Фауст, перелистывая магическую книгу, останавливается сначала на знаке духа мира, вселенского духа, макрокосмоса, а потом внимательно рассматривает знак микрокосмос, духа Земли. В первом случае, как мы помним, Фауст, выражая необычайное восхищение слаженностью и гармонией тех духовных и физических работ, которые макрокосмос совершает. Сообщая разьединенным, казалось бы, во вселенной силам возможность друг друга обогащать, передавать в золотых чашах друг другу непочатые возможности, возникающие в углах вселенной. Пастернак это перевёл: «подавая друг другу в золотых лоханях» эти ещё не встретившиеся друг с другом силы бесконечной вселенной, возникшие на предельном, казалось бы, расстоянии друг от друга. Этот слаженный ход работ восхищает Фауста, но он чувствует себя лишь зрителем этой картины. Он не может изнутри способствовать этому самодвижению Вселенной, может лишь созерцать её слаженную красоту. И поэтому он с неудовольствием переворачивает страницу магической книги, останавливается на духе земли, чувствует, что этот дух ему роднее. Может даже вызвать его, пытается сказать ему о равенстве между собой и им, духом земли. Но всё это мы хорошо помним.

Но применительно вот к религиозной шаманской идее Шесталова это интересно тем, что космическое и планетарное сознание – прямой аналог фаустовского макрокосмоса и микрокосмоса, их соотношения. Мы очень много это обсуждали с ним, прекрасно понимая друг друга. Вообще это большой подарок природы, судьбы – такое понимание, которое между нами возникало и было по-настоящему бездонным и неисчислимо богатым в такие мгновения. Причём, совершалось это действительно мгновенно. Вдруг между нами вспыхивала такая сила понимания, что, казалось, граница между нами духовная полностью разрушалась. Мы становились одним

духом. И я оказывался шаманом. Таким, каким он был в лучшие мгновения нашей дружбы. А надо сказать, и он, и я, мы были верны этому чувству до его смерти. Вот почему я чувствую, что он слышит то, что я сейчас этими неловкими своими словами пытаюсь сказать. Мы очень часто говорили с ним о соотношении макрокосмоса, микрокосмоса. У него был замысел создания урочища, в котором он мог бы очищать людей от той скверны человеческого опыта, которым так богат наш век. И там, в 30 км от Ханты-Мансийска, были выстроены некие помещения, в которых он предполагал совершать камлание над теми и для тех, который приходил, пришёл бы к нему для очищения. И даже там где-то он хотел, не знаю, успел сделать или нет, некое подземное помещение для меня. И даже не с тем, чтобы я очищался. Он не считал, что мне нужно очищаться. А помещение для того, чтобы у меня тоже был свой кабинет, и был бы он под землёй. Я бы так или иначе присутствовал, участвовал бы в том, что он совершал бы для жаждущих посвящения в этом урочище. Но тем не менее, когда мы с ним обдумывали создание академии космического сознания, Юван, как будто с некоторым неудовольствием переворачивая страницу магической книги, говорил мне о том, что для жаждущих очищения ближе дух земли, ближе сознание планетарное. Это некое проявление космического сознания, но совершенно особое, родственно приближенное к человеку. Здесь человек может попытаться уравнять свой дух с духом земли. Я сейчас использую образы гетевской трагедии, он не пользовался этими образами, но по сути можно было бы так выразить это соотношение макрокосмоса и микрокосмоса в идее, версии космического и планетарного сознания.

Да, мы задумали такую Академию и создали её. Правда, она больше осталась на бумаге. И он попросил меня написать устав этой академии. Я написал. Больше того, мы даже его провели через некую экспертизу и официально утвердили. Но там название академии претерпело ещё одно изменение. Сначала мы думали её назвать академией Торума, потом еще было несколько вариантов названий применительно к северной мифологии и ритуальной культуре, и образам, возникающим в шаманских камланиях и в фольклоре народов севера. Было несколько таких названий. Но потом всё-таки мы утвердили официально более простое название: Академия сознания природы. Но оно достаточно емкое, потому что вносило идею сознания во всё то, что составляет и духовную, и вещественную сущность земного и

космического бытия. Ибо сознание природы охватывает и небо, и землю. Но если расшифровать это, то здесь было то же самое фаустовское особое соотношение макрокосмоса и микрокосмоса. Ибо космическое сознание не совсем то, что планетарное сознание. А в планетарном сознании Юван пытался воистину поставить себя наравне с духом земли. Мы помним в трагедии Гете дух земли отказывает Фаусту в таком равенстве. Он говорит там, что его деятельное свойство соединяет небо и землю. Мы помним, как он говорит: «Я везде, в воде, в земле. Я океан и зыбь развития. И ткацкий стан с волшебной нитью, где времени кинув сквозную канву, живую одежду я тку божеству». Живая одежда – некая земная сила воплощения того, что за пределами земли, в космосе, в бесконечности. У Гете дух земли безжалостно говорит Фаусту: «Ты равен лишь тому, кого познаешь, но не мне». По сути дела, вся трагедия «Фауст» в сценах, которые созданы Гете, повествует о том, как осуществляется всё же не осуществимое в начале единство духа земли и Фауста. Пройдя всю цепь своих исканий, своих падений и вновь обретений, пройдя вот всю эту спираль духовного развития, поисков, ошибок, заблуждений, преступлений, Фауст в итоге самой смертью своей соединяет небо и землю. И формула духа земли, которую он сам произносит над Фаустом, вызвавшим этот дух земли своими заклинаниями, осуществляется. Совершенно неожиданно для Фауста и для читателя. Настолько неожиданно, что, по-моему, никто ещё пока не соотносил эту краткую формулу духа земли и фаустовский финал гетевской трагедии. Я не знаю человека другого, который был так близок к этому пониманию соотношения земли и космоса. Проявленного не в механических процессах материальной сущности, и в них, конечно, но прежде всего в том, что их одухотворяет.

Речь шла не вообще о природе, а о сознании природы, о природном сознании, которое присуще не только человеку, но всему, что живёт и, казалось бы, не живёт. Это сознание человека, сознание животных, сознание растений, сознание веществ, минералов. Во всём он прочитывал этот глубинный смысл, эту глубинную силу, эту глубинную тайну. Здесь только не хватало одного – моего понятия об ипостасности. Как осуществить это единство сознания природы на земле и в космосе? Да, мы с ним утвердили эту нашу духовную конституцию, этот устав Академии. Официальные бумаги он мне привёз, незадолго до смерти. Но практически Академия так и не родилась и сейчас не существует. Видимо, только в архиве можно найти

следы наших мечтаний, наши попытки практически воздействовать на нашу современную нам всеземную историю. Мы там определяли, кого мы будем считать членами нашей Академии. Папа Римский был одной из кандидатур. На сторонний взгляд и для стороннего уха это всё достаточно смешно. Но для нас вдвоём с Юваном это было очень серьезно. И мы с ним буквально договорились о том, что мы скрепим духовно наш замысел другими творческими замыслами. Он очень высоко ставил мою поэму «Данте», придавал ей мировое значение. Считал это великой книгой. Редко кто об этой моей поэме так говорил и говорит. Я сам весьма далек от какой бы то ни было авторской эйфории. Вот он, действительно, так считал и прочитывал её, будучи здесь, в Ханты-Мансийске, за рубежом в Венгрии, где у него был свой дом. Он ведь был человек действительно планетарного сознания и признания как великий мансийский поэт, основоположник мансийской литературы. Он имел доступ в любую сферу мировой социальности и пользовался мировым признанием. И вот, в Венгрии (он звонил мне оттуда), он читал строки и строфы моего «Данте» и говорил теми особыми словами, которые я не буду повторять самому себе. О том, что это строки на уровне мировом, и что их нужно разгадывать, и в них нужно погружаться. И погружение это бесконечно. И родственно ему то пространство, которое эти строки собой открывают. Мой «Данте» был написан. И мы договорились с Юваном, что он, несмотря на признание его лучших вещей, классических текстов, таких, как «Языческая поэма», его удивительная проза, поздние стихи ещё не написаны. Вот здесь мы с ним вспоминали как раз «Фауста» Гете. Ювану нужно было создать своего «Фауста».

И он задумал такой, в особой совершенно уникальной форме, философский, магический, сугубо поэтический роман «Откровение крылатого пастора». В основе лежит один из мифов манси, созданных манси о крылатом пасторе и о ногастом пасторе. И здесь тоже есть соединение и некое противопоставление (я бы сказал опять же – ипостасное единство) крылатого и небесного. Крылатый летит в космосе, ногастый бежит по земле, но они родственны, они ипостасно друг другу близки. И вот помимо того, другого ещё нашего замысла, который был связан с изданием мансийского эпоса, и он меня, не знающего мансийского языка, вовлек в перевод этого мансийского эпоса, сохраненного в венгерских источниках. Переводом мансийского эпоса занимаются, правда, не так масштабно, как надо было бы,

но занимаются и в Ханты-Мансийске, и в Венгрии. Но Юван предоставил мне дословный перевод и попросил меня сделать перевод поэтический. Я сделал этот перевод свободным стихом, не так, не в той форме, в какой был воплощен оригинал. Но так, как, мне казалось, можно по-русски свободно выразить красоту и духовную свободу этого текста, сохранившегося. Так вот, наше погружение в мансийский эпос должно было выразиться в многотомном издании эпоса. А последний том должен был принадлежать самому Ювану. Там он вполне выразил бы себя не просто как основоположник мансийской литературы, не просто как прямой наследник тех богатств, которые таит в себе мансийский эпос. Он очень красив и глубоко как-то справедлив и благороден в своих образах. Я это почувствовал, переведя один из ключевых эпизодов. Вот Юван имел право, как народный поэт и основоположник литературы, уравнивать народный эпос и свою проповедь космического планетарного сознания, воплощенную в особой, присущей ему, поэтической форме. Так мы с ним договорились. В одном из предисловий книги, которое он попросил написать меня, я, по его же словам, дал целую программу, сформулировал, того, что ему нужно сделать, пока он жив. А ему казалось, что он будет жив всегда. И, к сожалению опять-таки, он не пользовался, и я тоже не пользовался своим термином ипостасного бессмертия, ипостасного сознания. Но сейчас всё-таки слышит. И мой хриплый от долгого молчания (целую ночь я молчал) голос, вот этот мой хриплый голос, которым я говорю с самим собой утром, он слышит.

Вот мы с ним договорились, что он напишет, создаст этот свой роман последний «Откровение крылатого пастора». И он начал писать этот роман и опубликовал в особой книжке самую первую его часть. Там есть тоже моё предисловие. Это был его Фауст. И я совершенно всерьёз видел необычайную возможность раскрыть этот роман в символах, образах, шаманской природой усиленных и воплощенных, фольклорных и созданных его, Шесталова, гением. Об этом можно говорить, потому что это было ярко, самобытно, по-шесталовски неповторимо. Так вот мы с ним, и я вслед за ним, и, не боюсь сказать, отчасти в помощь ему, видел эту великую возможность. Создания нового Фауста. Смерть оборвала наш труд. Мой, разумеется, заключался только в том, что я понимал его замысел и помогал ему этим пониманием. А он, вовсе не соревнуясь со мной и вовсе не защищая свою самобытность от меня, а я тоже фантазировал, я на его языке,

с помощью его образов, развивал его мысль. Что-то даже подсказывал ему. Это была та самая дружба, которой обычно не бывает. А она была. И вот она оборвалась. Правда, у меня остались бумаги Шесталова, которые он незадолго до смерти передал мне. Там есть черновики, наброски неопубликованных и недописанных частей романа. Порой там не хватает связующей ткани между обильными цитатами и погружениями.

Вообще, если внимательно прочитать черновики, оставшиеся у меня, может быть, даже тот, кто попытается это сделать, доберется до глубинной, тайной, шаманской и всечеловеческой сути того, что он хотел создать. И что я так понимал в нём и так хотел, чтобы это было им осуществлено. Вот почему последнюю свою книгу, которую он мне перебросил из Ханты-Мансийска, с такой развёрнутой надписью, посвящённую другому уже вопросу, связанному с русской историей, с русской духовной культурой, попыткой соотнести русскую и мансийскую древнюю культуру (к этой книге я тоже сделал своё предисловие), вот эту книгу он тоже, как бы без всяких слов, посвятил мне. И выразил это в той надписи, которая была на книге. Он просил, чтобы я написал несколько слов в качестве предисловия к ней. Я это сделал, послал. И вот он звонит мне и говорит своим особым голосом, таким напевно глухим: «Ты заставил меня плакать». Это я говорю себе только, только потому, что это никто не слышит. Я постараюсь, чтобы никто этого и не услышал. А самому себе я всё-таки это говорю. Потому что здесь нет преувеличения. В памяти об этом оживает тот особый строй чувств, который нас связывал и который мы на расстоянии друг от друга переживали. Это подарок мне и ему от планетарного и космического сознания природы. Это воплощение для меня ипостасности этого сознания. Космического, планетарного, человеческого. Здесь живёт некая тайна, которую я тоже попытаюсь, по возможности, раскрыть. Разумеется, роман «Откровение крылатого пастора» так и останется недописанным. И вместе со мной уйдёт то, что не удалось выразить словом вполне. То, на что есть лишь намёк в моих неловких словах живой ипостасной памяти, которая вновь рождает то, что ушло.

20 ноября 2019

Конечно, расхождений между нами было много. Бывали ссоры. Один раз мы даже подрались с ним. Правда, после этой драки, а это было в Ханты-Мансийске, Юван утром, увидев меня, бросился ко мне и ну, не было такого места на мне, которое бы он не поцеловал. Мы никогда не дошли бы с ним да разрыва. И, наоборот, кажется, чем глубже не высказанные вслух расхождения осознавались мною и им, тем крепче была наша дружба. О ней, как и о любви в человеческом мире, и в его, и в моей жизни, можно было бы написать целую книгу. И вот самое прекрасное в нашей дружбе была её нерушимость. При всех расхождениях.

Главное из них – расхождение язычества и моей версии ипостасности. Выскажу гипотезу. Пока это лишь предварительное предчувствие мысли. Язычество не знало ипостасности. Правда, индусская мифология с её триадой, троицей – Брахма, Вишну, Шива – это прямой подступ к учению об ипостасности. По моей версии, это один из источников христианства. Конечно, это нужно еще доказать, проделать особое исследование. То, что я сейчас говорю самому себе, лишь черновые намёки. Но по самой сути своей ипостасность язычеству противопоказана. Каждый из олицетворенных сил языческой мифологии отделяет себя от других, таких же божественных сил. Она являет свой голос и свой лик в языческом пантеоне. И в этом её предназначение. В античной греческой мифологии олимпийское распределение ролей, божественных амплуа тоже совершенно исключает ипостасное пресуществление, переход одного божества в другое. У каждого из богов было своё предназначение. Правда, таких предназначений было столь много порою, у того же Аполлона, критского Зевса (это достаточно выразительно показал Лосев в своём исследовании), что, кажется, переход от одного амплуа к другому воистину предвещает ипостасное соотношение сил в природе. В поздней античности Гелиос и Аполлон смешивались. И миф о Фазтоне, который я в детстве пытался выразить в своей поэме, тоже предполагает некий переход одного божества в другое. Ну и таких примеров можно, конечно, найти немало. Всё равно, главная тенденция античной греческой и позднее римской мифологии – в распределении ролей, в непреходимой границе между божествами.

С Юваном мы на эту тему не говорили, но он, конечно, знал, что моя версия (хотя я не пользовался тогда термином ипостасность) христианская по своей природе. Она, как уже приходилось замечать, восходит к Троице. А христианская Троица это совсем не то, что древнеиндусское тримурти и древнемансийское распределение божественных ролей в мире. Хотя там есть прямые параллели, казалось бы, созвучие между язычеством и христианством. Вот в эпизоде о Мирсуснэхуме, о том, кто был послан отцом в мир, чтобы содержать его в порядке. Здесь перекличка с христианством совершенно очевидна. Иными словами, было о чём поговорить тогда. И сейчас у меня прямо физическое ощущение, что я говорю с Юваном. И он пока не отвечает мне, потому что копит в душе силы для того, чтобы потом выразить каким-то поэтическим экспромтом, неистовым по своей мощи. «Если надо, я торнадо», – зарифмовал он однажды. А я, зная о том, что он может разразиться такой языческой грозой, бестрепетно продолжаю обнажать ему свою версию. Ему казалось, что христианство уже устарело и должно быть заменено неоязычеством, именно его, шесталовской, живой идеей космического и планетарного сознания. А я сейчас бестрепетно, чувствуя его присутствие, говорю об ипостасности внутри каждого из этих двух сознаний – внутри макрокосмоса и микрокосмоса. И между ними – между сознанием всемирным и сознанием одного из миров, в том мире, где мы живём. И мне думается, что это его молчание где-то обещает согласие. После проверки. Он уже проверяет это и потому молчит. А я ещё на пороге того мира, где мы совершенно по-особому, невозможно вообразить и представить, встретимся и доведем до какой-то ясности наш разговор.

Из моего «Данте» он очень многое брал в качестве эпитафий для своей последней недописанной поэмы «Откровение крылатого пастора». И некоторые из этих цитат загадочны для меня. Хотелось бы его спросить, почему именно они остановили его внимание, почему он их часто проборматывал вслух. И в бумагах его прямо встречается это частое, повторное порою, цитирование. У Данте некрещеные младенцы не попадают в рай, остаются в лимбе, первом круге ада, где собраны лучшие тени, тени лучших людей. Не знавших или не признававших Христа и поэтому вечно томящихся по ускользающей от них правде, истине. Там, рядом с Гомером, Овидием, Горацием, самим Вергилием, и души некрещеных младенцев. Ушедших из жизни, еще не придя в неё по-настоящему, ушедших

до крещения. Но этот мотив Юван переживал, черпая его не из «Божественной комедии», а из моего грешного «Данте».

Через Чистилище и Ад,
Я слышу, голоса летят.
Они как будто раздаются
Из чрева грешных матерей,
Мелодиями революций
Пронизывая Эмпирей.

Мне кажется, пришла пора
Космического топора.

...А как вы оправдать могли бы, - сказано у меня там дальше, -

Миропорядок неудач,
Недоговаривая либо
Из лимба слыша этот плач?..

Осуждены, сказать общо,
Все нерождённые ещё.

Их защищать никто не станет.

И вот из чрева матерей
Младенцы-недохристиане
Взрывают Божий эмпирей.

Моя Наташа догадывается, что Юван потому часто цитировал это стихотворение целиком, что вот эти недохристиане в этом стихотворении это языческие народы. Которые взрывают Божий эмпирей, заявляя о приходе, революционном приходе нового язычества. О его пресуществлении, о его пресуществленном приходе в наш мир. Может быть, это верно, я не успел с ним об этом поговорить. Но во всяком случае, здесь Юван подбирался к тому, что нас отличает, нас разводит.

Моя версия всё же христианская. Ибо она исходит из христианской Троицы и распространяет её на целый мир. Это распространение не есть язычество. В каком бы новом, пресуществленном проявлении оно ни являлась. Даже распространённое на мир всечеловеческих отношений, на мир животных, растений. На застывшую, казалось бы, и вместе с тем затаённую жизнь минералов. Даже вот так будучи распространённой, эта версия остаётся христианской. Я думаю, никто не осудит за такое широкое

применение этого принципа, которого нет в других религиях; которое говорит не о размежевании сил, а о любви. Дружба есть проявление такой любви. Вот почему мне кажется, что если бы мы всё-таки при жизни Ювана заговорили об этом, мы бы ещё ближе придвинулись друг к другу. И кто знает, может быть, он даже что-то принял из моей версии и включил бы в свою. Ибо, как я чувствую, язычество и христианство тоже ипостасны. И не сами по себе. Не в том состоянии, когда каждая из этих версий замыкается на самой себе. А в том состоянии, когда они, даже не будучи осознанно тождественными или не будучи до конца осознанно противопоставленными друг другу, уже взаимно переходят друг в друга и обнаруживают удивительное сходство, кровную близость и открывают в себе и друг в друге связующую их любовь. Вот, наверное, что-то подобное мы бы сказали друг другу. И Юван, как это у него часто бывало, соединил бы свой лоб с моим, и мы крепко пожали бы лбами друг друга. И при этом почувствовали бы удивительную радость духовного единения. Такую радость, которую ни с кем, кроме самого близкого мне человека, мне не приходилось переживать. И вот сейчас я чувствую прикосновение к моему лбу, сильное и глубоко дружеское. Чувствую это, радуюсь этому и передаю безмолвному Ювану то, что не успел ему при жизни сказать. Конечно, то, что я говорю себе сейчас, ничто в сравнении с тем, что я мог бы ему высказать и что я пытаюсь этим прикосновением ему передать.

21 ноября 2019

Я не очень сочувствую шесталовской идее очищения сильных мира сего. В том урочище, о котором рассказывал, в той каменной башне несколько этажей, где они должны были пройти ритуал камлания и в итоге очиститься и продолжить свое поприще политиков. Мне думалось, что не все из них, даже те, кто добровольно искал бы очищения, заслуживают такого чистилища. Но Юван полагал, что это та форма деятельности шамана, поэта, которая соединяет его с современностью, позволяет овладевать теми активными способами воздействия на мир, какие возможны в жизни поэта и шамана. Всё дело в том, насколько эти действия, эти камлания нужны миру. Но у Ювана была мысль о том, что разум, духовная потребность, чувство вины, сознание греховности предшествующей жизни повлекут сильных мира

сего к очищению. А как же остальные? Остальные – грешники, которые были орудиями в замыслах сильных мира сего, но так и не стали сильными. Как быть с множеством тех, кто хотел бы очищения и заслуживал бы его? Но им нужно было ждать своей очереди, пристраиваться в конец этой очереди, отдав сильным возможность первыми пройти очищение. Всё это мне казалось не совсем верным, если оглянуться на те самые высокие порывы, которые были у поэтов и шаманов.

Большинство сильных мира сего обречены оставаться в современном аду. Вернее, в том дантовском аду, который населен современными душами, конечно, условно. Но за этой условностью что-то скрывается, и какая-то тайна живёт. Вот я огляделся в дантовском загробном мире, населённом современными душами, и увидел, какой переполох, какой хаос учредили они в этом выверенном и продуманном, геометрическом до последнего миллиметра построении, которое великий поэт совершил в своё время. Он всё разметил, разнес по кругам, уступам и сферам грехи и добродетели. И уж по крайней мере, в загробном мире у Данте не было среди грешных ипостасности. И только в раю, в сферах рая совершалось приближение к Богу. И то оно было иерархическим, а не ипостасным. В моём путешествии по загробному миру, в поэме «Данте», всё оказалось взорванным душами современности. И так как путешествовал по этому загробному миру я сам, где-то перевоплощённый в Данте, вообразивший себе такое ипостасное пресуществование, то, во всяком случае, Данте, который ответно мог пресуществоваться в меня, чисто метафорически, конечно, с удивлением мог обнаружить, что произошло в его мире за те века, которые отделяют Данте от меня. Он должен был, в моей поэме, разумеется, столкнуться с этой загробной реальностью и с неожиданностью, столкнувшись, внезапно мог обнаружить что-то подобное апокалипсическому финалу земного бытия в мире загробном.

Там, в этом загробном мире, души, взорвав и разрушив рассчитанный поэтом порядок и строй трёх миров, достигли свободы. И тот, кто, читая мою поэму, задумается о свободе как о цели, о том самом итоге, который грезился людям, если вот он задумается об этом, то он должен был прийти к мысли о том, что будет именно то, что показано в поэме. Души, независимо от того, чем они грешны, какой груз прегрешений они несут из живого мира в мир загробный, обладали и, вернее, получили или, может быть, завоевали

свободу передвижения. По всем кругам, уступам и сферам ада, чистилища и рая. Каждая из таких душ поступает по своей воле, по своему желанию, и сама определяет для себя свою загробную судьбу. Сама решает, где ей страдать, очищаться или испытывать райское блаженство. Но получилось таким образом и неожиданно случилось то, что разница между адом, чистилищем и раем исчезла. Они лишь территориально, если можно было бы так сказать, отделены друг от друга. И то современное представление о недрах земли, но и не только современное, то раблезианское, о котором мы уже говорили, ну и представление о космосе, конечно, и о путях восхождения к нему, обо всех возможностях, средствах этого взмывания в космос. И вот мы, получив возможность такого осуществления своей воли в загробном мире, получим то, чего хотим. И таким образом, небесное и земное устройство загробного мира останется как некая память о том, что было. В аду, в чистилище и в раю. И что опытом современных душ было вытеснено, заменено, отвергнуто. Таким образом, вставал вопрос: куда же взлетать, куда восходить из бездны греха, ради чего и мыслью о чём очищаться, поднимаясь по уступам чистилища к земному раю. Да и сам земной рай оказывается под вопросом. Нам уже, кажется, приходилось вспоминать, нам, имеется в виду мне, который думает, размышляет, ведёт разговор, и мне, который отвечает, поддерживает эту беседу. И это другое я – Юван. Да, тот самый Юван, прикосновение лба которого к моему лбу я продолжаю ощущать. Так вот мы так или иначе говорили об этом удивительном загробном миропорядке свободы. Об этом свободном передвижении из ада в рай, из рая в ад. И этой возможности побыть в чистилище и в том самом земном раю, о котором я только что хотел сказать, что его в моём загробном мире нет.

Мы помним, что Данте, возвращаясь в Равенну, после выполнения одного дипломатического поручения, заболел. Болото, комары, которые так обильно живут над этими болотистыми местами, видимо, ускорили смерть великого поэта, успевшего написать свою «Божественную комедию». И поэтому у меня земной рай предстаёт как некое искушение, которое тоже надо уметь оценивать и преодолевать.

Земного Рая не было и нет

Ни в этой роще, ни в лесах Равенны.

И вот ночные комары слышны,

Висит коряга чёрная, сырая.
И, побеждая козни Сатаны,
Я улетаю из Земного Рая.

И в итоге путешествия единственный исход – это возврат на землю, но возврат с тем, чтобы по-настоящему оценить и полюбить. Красоту земли; красоту родной деревни; живое слово; тех, кто ещё не переступил границу земного бытия; и все те мелочи, казалось бы, подробности.

Посёлок там, звенит машина где-то...
А в ковыле шептание серебра.
Стада бренчат на берегу откосном,
Чуть зашумел покос издалика...
И к розовым раскинувшимся соснам
По синеве крадутся облака.

Всё это, действительно, оказывается не то что единственным раем, а по-настоящему целью, самоцелью человеческой земной любви. Такая вот поправка к видению загробного мира. Это было всё собрано в поэме тридцать лет тому назад. Скоро исполнится тот срок, который Данте называл серединой жизненного пути. (итал...). И вот в этом мире, если его принять, а Юван его принимал, читая мою поэму (такого читателя, как он, может быть, у меня вообще не будет больше), вот он хотел в этом мире, в том самом урочище, которое было в 30 км от Ханты-Мансийска, он хотел там выстроить башню очищения. Башню, где самые, может быть, грешные из всех земных человеческих душ, души сильных мира сего, будут очищены с тем, чтобы продолжить свое поприще. Вот он хотел, чтобы и я где-то присутствовал, и прислушивался к тому камланию, которое он произносит, спасая сильных мира сего.

Я слушал его мечтанья, замыслы, чаще всего молчал. Иногда только говорил ему о том, что лучше бы он довершил своего «Фауста». А эта попытка влиться в современный 21 век, осуществить такое, на грани жизни и смерти, предприятие, совершить такой современный бизнес на грани миров, не стоит. Пусть лучше заглянут в этот загробный мир беспристрастным взглядом умудренных современностью душ – грешник и близкий к святости. Пусть переживут и преодолеют ту свободу, которую загробный мир открывает для них. Оказывается, в этом загробном мире нет ничего, что

отличало бы его от мира, в котором мы живём. Загробный мир вполне ипостасен миру реальному. Знание об этом и радует, и спасает, и погружает в безнадежную печаль. Кого как. Ибо свобода – вина каждого из нас. Это наша возможность распорядиться ипостасностью земного и загробного существования, или небытия там и здесь. И это взрослое знание. То, что нужно принять в себя. То, во что нужно вжиться. То, что нужно, по возможности, преодолеть. Как – никто не знает. Я не знаю. И мой Данте не знает. Но при этом твердо стать на Земле. Полюбить те подробности, те признаки, те звуки, те благоухания, те тона и краски, которыми богат и остаётся богатым и по сегодня наш реальный мир. Наша пустынная, до сих пор не возделанная Россия. Либо весь планетарный мир. Россия помогает видеть этот мир мне. Тут нужно твердо встать на землю, здесь. Само бытие есть некая сфера, зеркальная изнутри, которая отзеркаливает оттуда, из неба, из бесконечного простора космоса на землю. «Чтоб на земле увидеть лик Сократа, Будды и Христа». Это стихотворение Шесталов внёс в свою книгу о планетарном и космическом сознании. И вообще там дал мне несколько страниц для того, чтобы я выразил и высказал своё верование. Как я уже рассказывал, урочище, которое задумал Шесталов, сгорело. Он пытался выстроить и выстроил его вновь. Он хотел вместе со мною построить и другое, Северное урочище, в Белокаменке. Смерть его прервала наши замыслы. Но я думаю, тот разговор, который сейчас происходит между мной и им, между мной и мной, откроет для него и для меня, для каждого в своём мире, путь к настоящему утолению той самой духовной жажды, которая делает нас ипостасными друг другу. Я вполне принимаю его верование, его крылатого пастора. Он вполне приемлет моего «Данте», недаром называя его в своё время великой книгой, а моего Данте – великим духом. Всё это, возможно, очень сильно преувеличено. Но это то, что нас соединяет, даёт нам опору друг в друге, избавляет нас от тех блужданий, заблуждений, от тех призрачных замыслов, которые посещали нас и которые настоящая наша дружба очищает, спасая нас друг для друга.

22 ноября 2019

Поэт, писатель возвращает ушедшие мгновения и опять даёт счастье или несчастье их пережить. И происходит это не то что многократно, а по

природе самой всегда. Да, и это всё противоречит другой закономерности во времени, в движении бытия. Эта закономерность все мгновения пережитого оставляет в прошлом. И так поэт и писатель борется с этой, казалось бы, необоримой правдой движения. Значит, когда-нибудь, когда бытие соберет свои силы и придет в мир немало тех, кто своей властью художника будут возвращать в мир то, что ушло, люди научатся это делать, и наука будет этому помогать. Вера будет вести к этому человеческое сознание. И общее стремление, наконец, выразится в том, что такое чудо станет возможно. Мысли эти приходят мне в голову неслучайно. Я мысленно перелистываю то, что сделано, то, что написано. И каким бы сильным или бессильным художником слова я ни был, самое важное для меня, самое сакральное, самое задушевное и самое духовное из того, что удалось сказать, написать, связано с тем, как я вообразил возвращение Миши.

Небольшой том, книга, которая так и называется «Апокалипсис», этому посвящена. Книга состоит из нескольких повестей и поэмы «Преодоление». И там те, кто её издавал в Москве, разместили фрагменты работ отца, его пейзажей, картин. Почему-то именно так, фрагменты. Со мной никто не совещался по этому поводу. Таково было решение редактора – издателя, художника, коллекционера, который в Москве сделал выставку отца и выпустил большой том к открытию выставки. Он знал, что делал, и не нуждался ни в каких советах даже с моей стороны. Цветные репродукции на полях этой книги заставляют всматриваться в детали и подробности пейзажей и картин. И то, что не то, что пропадало, а органично входило в единое целое каждой картины – как некое мгновение ушедшее возвращалось и возвращается. И можно без конца всматриваться в каждую из деталей и подробностей, которые, казалось бы, может быть, даже и не замечал особо. А тут вдруг эта подробность оказывается какой-то даже особой картиной. Особым, неизвестным произведением отца. Да, так произошло. И я благодарен издателю книги, ибо он дал мне какой-то новый взгляд, новый способ видеть прошлое, видеть ушедшее. То, что навсегда запечатлено в каждом из этюдов. Речь идет об этюдах. Портрет другое дело. Итак, спасибо за эту книгу.

В ней повесть «История болезни», где ещё возвращения не произошло. Но я в какой-то момент попытался стать моим отцом. Я надел его рабочий халат, взял в руки палитру, где ещё, казалось бы, не застыли краски,

которыми он писал незадолго до смерти. И остановился с кистью, с отцовской кистью в руках, перед его холстами, как будто желая что-то дописать. Попробовать, тронуть холст той краской, которой он, отец, ещё недавно прикасался к холсту. Вот это попытка разговаривать с небытием, сближать то и другое, достичь внутренне, мысленно, в воображении или движением кисти, которой я всё-таки не касался холста, моё небытие и моё бытие. Думается, я попытался это сделать впервые. Я не помню, кто из писателей ещё хотел так вот восстанавливать и возобновлять ушедшее. Это не вечное возвращение, как у Ницше. Это возвращение, я сам уже подсказываю себе, ипостаси ушедшего. И возвращение, по сути – вновь рождение, оно не противоречит общему закону движения бытия во времени и в пространстве. Но оно, тем не менее, поправляет это, уже сотворенное природой чудо непрерывного движения вперёд. Произведение искусства так или иначе вступает в спор с этой закономерностью, так или иначе её поправляет.

И вот следующая в этой книге «Апокалипсис» повесть «Один». Это поток сознания Миши почти накануне его смерти. Ночь, которую он провёл один на один с самим собою. Вспомнив, собрав в душе всю свою жизнь и ощутив себя как то, что сам же обозначал словом «сверхдуша». «Наберись новых сил и будь готова к новому дню после такой ночи, моя сверхдуша». Это предчувствие конца и победа над ним. Ибо самое понятие «сверхдуша» несёт в себе эту победу. Душа уходит, сверхдуша ипостасно возвращается, рождаясь вновь и утверждая себя. Утверждая в себе то, что мы не хотим, чтобы уходило.

Следующая повесть «Стерх». Она написана от имени двух: от моего и от имени Миши, который вернулся уже после своей гибели ко мне на два дня. Эти два дня описаны. Первая часть повести – от моего лица. И там рассказано, как я обнаружил его приход. И что было с нами; как я мог это увидеть, понять, как я мог признать видимым то, что, казалось бы, невозможно. Вторая часть – от лица Миши. И там рассказ о попытке вернувшегося вновь соприкоснуться с тем, от чего он, казалось бы, ушёл. Он идёт по тому же пути, по какому мы когда-то вместе с ним ходили по берегу речки, Ящеры. Он доходит и до того места, где мы купались. Он встречает какого-то чужого парнишку, который тоже пришёл искупаться утром. Он даже сталкивается с ним в воде. И получается, что его вернувшееся бытие и

бытие, от которого он, казалось бы, ушёл, могут соприкоснуться, могут встретиться. Самое горькое и невыносимое в этой повести для меня – это расставание. Ибо в какой-то момент отец, т.е. я, перестаю видеть Мишу. Вот стволы ёлок рядом с нашим маленьким домом и с баней, вот я только что видел его лицо. Я протягиваю руку и не встречаю его. Я пытаюсь найти его, иду в маленький дом, поднимаюсь на второй этаж нашего главного дома. Спускаюсь вниз, зову его, возвращаюсь, а он (и от его лица идет рассказ) чувствует даже тепло моей руки и, тем не менее, перестаёт быть в этом мире. И уходя, продолжает, по-особому даже, не продолжает, а переживает с какой-то небывалой болью и радостью мою встречу с ним. И свою любовь и жалость ко мне. Мне думается, что всё-таки никто такого не описывал.

Следующая повесть «Ипостась». Чрезвычайно подробно, многоголосо там повествование ведется от лица многих персонажей, которые в этой повести собраны. И, казалось бы, происходит в течение третьего дня – то, что должно было бы произойти в нашей реальности. Происходит ипостасное единение тех, кто в нашей жизни разъединены друг от друга. Там много этих стремящихся друг к другу человеческих «я», отличающихся друг от друга, но стремящихся к встрече, к соединению. И вот, казалось бы, уже состоялось то, что должно явиться в мир. И теперь нужно только что-то сделать, чтобы это продолжилось, не уходило. Но это исчезает мгновенно. Исчезает утром. Ибо то, что было, при всей подробности, ясности голосов – всё это проба небытия. Небытие, само себя отрицая, пробует в себе самом бытие. Убеждается в том, что это возможно. Во всех подробностях и настолько чётко, что кажется – небывалое чудо вполне совершилось. А на самом деле, это лишь проба. И я опять остаюсь один на один с самим собою. И только в окне маленького домика вижу, как на столе, перед окном, на тех листочках, на которых мой вернувшийся Миша писал эти ушедшие 2 дня свой «Апокалипсис», строчки продолжают появляться. Не видно ни руки, ни ручки, которая пишет. Но строчки являются на листе бумаги. И я сдавливаю в себе рыдания, глядя в окно снаружи, в окно дома, на этот листок бумаги. Я сдавливаю в себе эти рыдания, как будто боюсь, что кто-то услышит меня.

Вот следующая повесть, самая большая, «Апокалипсис», написана целиком от лица Миши. Оказывается, всё-таки происходит его возвращение. Но оно осуществляется не здесь, а в Питере. Миша отдаляется от меня, но не исчезает. Он как будто обживает всё оставленное им бытие. Он встречается с

мамой, со своими приятелями. Он оказывается даже на том месте, где он работал перед смертью. Он даже встречается со своим якобы другом, директором той фирмы, в которой он трудился, и кто, как в этой повести сказано (это фантазия), кто был организатором убийства Миши. И завершается повесть поездкой – Миши и моей, вместе с одним добрым писателем, который вез нас на своей машине в деревню, где я прожил два года, самых счастливых года моего детства, в Климовщину (о чём подробно рассказано в повести того же названия). Перед этим Миша даже побывал на своей могиле, стоял над той стеллой, где изображен он сам. Его лицо, смотрящее из гранита. Оказывается, очень трудно отойти от такой могилы, приходится переживать физическую боль. Ту самую, какую он переживал в момент смерти или в момент смертельного ранения в подъезде нашего дома. Но в повести «Апокалипсис», по имени той рукописи, которую Миша писал в первые 2 дня нашей встречи, той рукописи, которая так и осталась там, на белом столике маленького дома нашего, той, которая развернулась в целую повесть, может быть, даже целый роман, рассказывающий о том, как Миша вернулся – в этой повести по-особому утверждается чудо возвращения.

Вновь рождающего возрождения и возвращения. Чудо такой ипостаси, которая благодаря искусству возможна в воображении, в предощущении. Как капелька того воображаемого опыта, который, может быть, когда-нибудь станет реальным опытом в человеческом бытии. Нет, я совсем не заблуждаюсь, переоценивая написанное. Я не говорю сейчас о том, как это получилось. Но здесь ещё и ещё раз утверждена правда возможности такого чуда. И сделана попытка выразить то особое состояние, которое говорит мне сейчас: это самое прекрасное, самое блаженное из тех состояний, которое ты хотел бы пережить. Не надо возноситься в эти сферы надземного и даже космического сверхбытия. Надо вернуться в этот мир по-новому. Потому что вся любовь твоя и вся любовь того, кого ты любишь, связана с этим миром, живёт только в нём и даёт самое полное утоление всем твоим молитвам, всем твоим попыткам познать и всей твоей человеческой отцовской и творческой воле осуществить своё желание. Так как-то получается, что тут я самому себе сказал, в чём смысл моего бытия. И что нужно для того, чтобы этот смысл, при всей его недостижимости и непознаваемости, был познан и достигнут. О таком преодолении говорит и завершающая книгу одноименная

поэма. Она так и названа «Преодоление». Но там бесконечно много тех моментов, тех реальностей, которые я хотел бы вернуть, вновь рождая их для самого себя и предсказывая их возможное вновь рождение.

23 ноября 2019

Юван очень любил эту мою книгу «Апокалипсис». Он всё время напоминал мне о том, что у нас будет разговор о ней. Подробный, подробный разговор. Разговор так и не состоялся. Сейчас я вспоминаю об этом, потому что вчера звонил один из моих читателей Корольков Александр Аркадьевич. Он внимательно пытается читать мою последнюю книгу прозы «Сказки». И там в аннотации сказано, что (в шутку?), что надо читать эту книгу от начала и до конца. Что повести, которые туда входят, и даже целый роман «Политик» составляют единое целое. Там же опубликованы и маленькие поэмы, их сразу несколько. Он вчера сказал мне, что нарушил этот совет – читать всё подряд. Начал с маленьких поэм, то есть с конца книги, а потом раскрыл «Политика». И вот довольно быстро привык к этой особенности моей прозы того времени. К этим коротким фразам, когда точка обозначает не конец предложения, скорее всего, а некую часть предложения, которую нужно отдельно произнести вслух, произносить вслух. Точка это пауза внутри фразы. Ну конечно, есть и точка, как положено, завершающая предложение. И вот этот поток сознания, который таким образом воспроизводится, вначале труден для понимания. Но вот – деталь, которая проясняет, кто думает, кто говорит самому себе. А вот ещё одна опорная деталь, и язык становится понятен. Вот это с ним произошло. И он тоже очень хочет внимательно поговорить об этой книге, когда её прочитает. Но судя по всему, он уже в неё углубился.

Кстати, так, такими короткими предложениями, я никогда не писал. Ну и те, кто читает эту книгу, признаются, что они не сталкивались прежде с таким текстом. Думаю, что, может быть, они не так уже неправы. Я не выдумывал эту форму, этот приём, он получился сам собою. Кому-то трудно вначале, кому-то сразу это близко и понятно. Потом я сам себе поставил задачу умерить употребление этого приёма, вернуться к обычной прозе. И так в какой-то мере написана повесть «Трое», тоже входящая в эту книгу. Но повесть «Илья», посвящённая украинским событиям, ещё написана в этой,

чуть ли не модернистской манере. Один из моих читателей так и сказал, что это по форме модернизм, а на самом деле это, ну в хорошем смысле слова, традиционная, классическая, как он выразился, проза. В общем, меня как-то читают всё же. И думается, что читатели будут прибавляться. Я не то что надеюсь на это, но вот такое предчувствие интуитивное подсказывает мне, что так и будет. Это уже происходит. В книге «Сказки», как и в книге «Притчи», я вроде бы стараюсь уйти от главной темы других книг. От темы ипостасного возвращения Миши, которая – образное выражение надежды и веры на моё возвращение. Так закончена поэма «Преодоление», где говорится о том, что Миша то является, и вполне осязаем, то неуловим и уходит. Но вот видя то, как разрушается, почти над бездной стоит моя Россия сегодня, порой даже непонятно, чем, какой объединяющей силой она держится, я невольно повторяю строчки из этого финала «Преодоления». Когда в России будет все в порядке, мы вновь будем нужны ей. К ней, к России я там обращаюсь прямо, на ты:

Тебе понадобится чудо
И сокрушительный подъем.
И мы появимся оттуда,
Поодиночке и вдвоём.

Так вот в книге «Сказки», в общем-то не включающей в себя сказок в традиционном смысле, это роман и повести с фантастическими, придуманными сюжетами и персонажами. И сказочность их фантастики, воображения, которое помогало мне писать. Вот в этой книге я пытался как-то отойти от темы Миши, потому что о нём уже кое-что сказано в «Апокалипсисе», во «Второй ипостаси»; в поэме «Миша», конечно, прежде всего. Я до сих пор не знаю, удалось ли мне уйти от этой темы, и надо ли было уходить. Наверное, всё-таки не ушёл от неё, а уходить надо.

В романе «Политик» запредельно фантастический сюжет о том, как в России победил фашизм. Некоторым может показаться, что тут никакой фантастики нет. Я думаю, что она всё же есть. Потому что там, в этом романе, оказывается, что главный герой, учитель, становящийся политиком поневоле и уже продвинутый в своём деле, успешно проведший через Думу некий законопроект, который таинственно обозначен в тексте романа. Что он оказывается учителем президента, учителем спикера Думы. Конечно, это

чистейшая фантастика. Хотя в 30 школе у меня был ученик, вошедший в политику и занимавший высокое положение в нашей политической системе, парламентской. Но то, что победил фашизм, и то, что у этого главного героя дети оказались вовлеченными в катастрофические повороты российской истории, это, конечно, выдуманно и имеет, естественно, значение предупредительное. Как некая антиутопия, сказочная антиутопия. Тем не менее, почему-то я, прислушиваясь к какому-то внутреннему голосу, писал этот роман, видел подробности сюжета, видел и характеры. И действие происходит и в Питере, и в Москве. Даже есть эпизод, когда учитель попадает в Кремль, на приём к президенту, который ничего общего не имеет с нашим нынешним президентом. Он выдуман, фантазия. Но по роману получается, что этот президент – один из учеников главного героя. Разумеется, я не буду рассказывать, пересказывать сюжет романа. Но он был для меня воистину страшен. У главного героя дочь и два сына. Один из них, так получается, близок к нынешним сегодняшним коммунистам.

А другой совершает фашистский переворот в стране. Оказывается у власти и, по сути дела, приговаривает отца к смерти. Которой удастся избежать. Но всё равно главный герой выброшен из этой фашистской российской социальности. Но дочь его – ещё один персонаж, для меня чрезвычайно дорогой, связанный с самым началом моей учительской деятельности; той, которая стала для меня работой после окончания университета, в вечерней школе Октябрьской железной дороги. Вот он один из моих хранителей тогда. Он меня тогда предупреждал, что мне нужно быть осторожным. Если я заметил, что кто-то за мной следит, то на 10 дней прекращать свою деятельность. А здесь его внук, очень похожий на того Романенко, становится мужем дочери главного героя. И спасает его от гибели. Но среди тех, кто в будущем будет спасителем России от ненавистного фашизма, есть и дети, которых Романенко знает или оставляет, поручая им заботиться о политике, выброшенном из всякой социальности. И не просто обреченном на смерть, но живущим и обреченном жить тайно. Тогда как его младший сын, который у власти, думает, что ему удалось убрать отца.

Ну, в общем, такой сугубо фантастический, в этом смысле сказочный сюжет. Он меня очень волновал, когда я писал этот роман. Я очень боюсь предсказательной насыщенности этих фантастических образов. И вообще

моих фантазий. Как бы предсказание не сбылось. С Россией происходит нечто такое, о чём нужно заново сказать. Конечно, в поэме «Миша» уже кое-что сказано о девяностых годах. Ну, и вот в этих двух повестях – «Политик» и «Илья» – говорится кое о чем. Украинские события кровно связанные с судьбой России. Попытки сегодня сказать о том, что Россия обойдется без Украины, а Украина, если даже и захочет вернуться к России, будет ею отторгнута, эти разговоры, которые звучат по телевидению на всяких дебатах, которых сейчас много и где допускаются самые разные, предельно и контрастно противостоящие друг другу точки зрения, эти разговоры напрасны. Я всем своим существом ощущаю, что Украина не сможет оторваться от России, вернётся к ней. И фашизм, побеждающий там, будет преодолен здесь. И вот эти ребяташки из поселка Климовщина, где завершается действие романа «Политик», они ещё повоюют. С этой черной безжалостной силой. Да и старший сын, как становится известно в самом конце романа, конспиративно пробравшись в Кремль, убивает младшего, фашиста. Сюжет этот никак не предусматривает появление и возвращение Миши. И тем не менее, когда я писал эту повесть или этот роман, я как никогда чувствовал неизбежность встречи. Роман не дописан именно потому, что Миша не появился в нём. Но он и не должен появляться в этом повествовании. Роман, к сожалению, закончен так, как закончен.

И вот есть читатели, которые погружаются в эту фантастику. И я думаю, доберутся до глубинного смысла предчувствий, предсказаний, надежд на победу. До этой одухотворявшей меня и до сих пор живущей во мне веры в победу. В той новой, необъявленной, а то и прямо заявленной войне. До которой я никак не думал дожить, вспоминая первую блокадную зиму и вообще военные дни, месяцы, годы. И не только в Ленинграде, но и в эвакуации. Там я по-своему увидел войну в лицо, потому что блокада это лицо войны, это почти передовая. Да не почти, а точно – передовая. Там, в Ленинграде, у меня на глазах совершалась будущая победа. Я чувствовал её неизбежность. И то блокадное чувство оживало во мне, когда я писал своего «Политика». Это было именно то чувство. И оно помимо воли оживало во мне и диктовало мне сюжеты, характеры, фантазии, сказку этого романа. Сказку, страшную для меня, и сказку, преодолимую верой, надеждой, любовью, которая растворена в этой фантазии и каким-то образом оживавшую в этих коротких фразах текста романа. Но победа для меня

неотделима от возвращения. Да и преодоление само есть возвращение. Ипостасное возвращение в мир. Тут я почувствовал, насколько всю жизнь сильно я верю. И сейчас, оставаясь ночью один на один с самим собою в том аду, в котором я оказался вот уже несколько месяцев, так и не зная, уходит от меня моё зрение или незаметно для меня возвращается, вот в эти страшные, казалось бы, ночи я нахожу в себе силу. Я не боюсь встречи с ними. Как никогда, я ощущаю, что возвращение будет, преодоление состоится. И встреча с моим Мишей неизбежна.

24 ноября 2019

Два романа, написанные почти сразу один за другим: «Правитель» и «Политик». Невольно возвращаюсь к желанию соотнести их друг с другом. Но разумеется, я не буду сейчас подробно и полностью это делать. Трудно и не хочется. Один, «Правитель» – о будущем. Фантастическая игра, когда студент университета, занявшийся бизнесом, успешный в этом, оказывается во главе целой партии в России и избирается правителем. Не только избирается, но признается правителем, обретает не желаемую им власть. Фантастика не то, что за чертой возможного (любая фантастика за чертой), фантастика, которую в принципе трудно разгадать, что это – «сон и ожидание, и близок день, или далек» (строки Тютчева). Но всё же роман «Правитель» – светлая игра фантазии. Хотя он насыщен воспоминаниями о катастрофически страшных событиях в жизни автора, но герой его романа так или иначе преодолевает этот ужас. А так как и бытие и небытие ипостасно соотносятся друг с другом, то во многом катастрофа может быть преодолена. И в романе «Правитель», где прошлое, настоящее и будущее фантастически перемешаны, такое одоление всё же происходит. И даже сама необъятность, неизмеримость небытия в самом конце романа открывается перед священником (персонаж, который возникает как раз в самом конце), раскрывается во всей своей необъятной свободе. Не хочу сейчас более точно, более подробно излагать то настроение, в котором я пытался писать этот, может быть, самый светлый и, вместе с тем, самый страшный роман. Я назвал его повестью. Это сейчас я употребляю это обозначение. Но в «Правителе» реальная, не политическая власть, признаваемая людьми, народом, она как бы сама по себе себя утверждает. Как некий порядок,

который свободно признан всеми. И олицетворен в одном человеке свободно, без всякого принуждения по отношению к себе самому. Народ, общество признаёт такое олицетворенное правление. И кто знает, во всяком случае, в этом повествовании, где несколько героев, много их, люди признают эту безвластную власть. И может быть, это один из исходов российской истории, если только необъятная страна будет в состоянии подняться до такой культуры высшего порядка. Разумеется, фантазия. Но вот когда был разговор на моём юбилее об этой книге, нашлись читатели, которые в этом романе прочли нечто близкое себе. Были и те, кто отказывался постигать эту фантазию. Но я помню чувства, состояние, в котором я ежедневно утром садился к моему компьютеру. И как будто какой-то голос мне диктовал. В «Правителе» это так.

В «Политике», наоборот, показана самая ужасная возможность развития нашей истории. И там те, кто обладает реальной, именно политической властью, теряют её. Ибо Россия ждёт правления, а не политического насилия над собой. Что ж, буду возвращаться к этим двум фантазиям. Одна из них, «Правитель», – притчевой природы. А другая, «Политик», – страшная сказка о том, что вполне может быть. Сейчас на Украине фашизм, претендующий на полную власть и крикливо узурпировавший её. А в романе «Политик» фашизм побеждает, временно побеждает, в России. Везде и всегда есть исход из самого невыносимо непоправимого состояния нашей социальности и нашей духовной культуры. Исход есть и в этих двух, соотносимых друг с другом, романах. И мне полезно сейчас, в нынешнем моём состоянии, мысленно перечитывать страницы и того и другого повествования. Перечитывать мысленно, потому что физически мне это сделать сейчас, не скажу невозможно, но фантастически трудно. Однако, я мог бы попытаться. Но я опрокидываю себя самого в свою память. Оказывается, она тоже фантастически несет в себе возможность какого-то по-особому свободного воспоминания о тексте. И кажется, самый текст. В книге «Сказки» вслед за «Политиком» следует повесть «Илья» – об украинских событиях. И вот тут связь «Политика» и этой повести для меня наиболее страшна. Здесь, казалось бы, нет исхода. Впрочем, наверное, он есть. Совершающий убийство на войне, которая разрывает Украину сейчас, несмотря на временные и зыбкие перемирия, этот молодой убийца проходит очищение у нас в России. В речке, на берегу которой совершается

действие этой повести. Там главные герои дети. Их много. Они ипостасно связаны между собой и с взрослыми. Но во всяком случае там, в этой повести, дан мой ответ, как я хотел бы и мог очистить от катастрофических преступлений, которые совершаются сейчас, тех людей, которые так или иначе удостоены будущего. Это сказка. Сказка страшная, кончающаяся, вместе с тем, не прощением зла, нет. Зло не может быть прощено. Но очищением, которое оставляет зло наедине с собою. И именно в этой встрече с собой самим оно проходит через страшный суд. Всё. Не буду больше сравнивать, ни пытаться как-то осмыслить свои тексты.

Что делать? И «Притчи», и «Сказки» несут в себе нечто неразгаданное. И я не думал, что это неразгаданное будет опорой мне в моём отчаянно безысходном нынешнем состоянии. Но моя душа, память, то, не уходящее от меня, пережитое – оказываются опорой и спасительной силой для меня. Попытаюсь и дальше жить этим чувством и что-то сказать в моей ненаписанной ныне повести – как развитию, продолжении этих сюжетов. Во всяком случае, хорошо для меня, что они есть, что они как-то воплощены в тексте. И тексты эти отданы всем, кто захочет в них проникнуть. Читатели, единицы, есть. Их понимающие отклики доходят до меня и спасают меня. А то, особенно по вечерам, опять же, оставаясь один на один с собою, я вдруг понимаю, что человеческая жизнь это прощание с жизнью. Я вижу то, что не увижу больше никогда. Я чувствую то, что не буду чувствовать уже через секунду жизни. Даже самое раннее детство и отроческие годы. А вот этими состояниями молодости я пытался наполнить и тот, и другой романы, повести. Они, эти молодые, полные нарастающих сил, переживания и состояния – это тоже прощание с жизнью. Прощание с тем, что переживаешь сейчас. Другое дело, что движение это ипостасно. Уходящее возвращается в новом, совершенно небывалом качестве. Именно поэтому хочется жить. И кажется, что ты не расстаешься, кажется, что ты встречаешься с тем, что не хочешь потерять. И вечером, перед сном, когда почти охватывает отчаяние, вдруг в глубине памяти, в душе, в том, что несказанно, в подсознании, в надсознании, пост- и в пред-сознаниях твоей души является спасительная опора. И ты незаметно теряешь себя и засыпаешь. Именно это, очевидно, много лет назад я пытался выразить в моём переводе восьмистишия Гёте (нем. ...) «над всеми вершинами покой». У меня конец такой, какого у Гете нет. Но может быть, в ипостасном переводе что-то подобное тому, что он

сказал, ожило. «Там над горными горами тишина. А над кустами и травами чуть слышна лёгкая песня ветра. В лесу тишина слышней. И ты незаметно исчезнешь в ней». Вот я исчезаю, засыпаю и вновь обретаю себя. И вот уже сколько таких засыпаний, таких вечеров, таких ночей. Таких снов без видений и таких пробуждений было за эти месяцы. И какой-то голос говорит мне о том, что они ещё долго будут. И что мне еще дано пространство и время, чтобы я мог дописать, договорить самому себе свою ненаписанную повесть.

... (нем...) Когда-то эти стихи «Двойника» Гейне я пытался перевести. И так перевести, чтобы можно было их петь на музыку Шуберта. Я пробовал петь и по-немецки, и в моём переводе. Вроде бы, что-то получалось. И получилось вот что: «Я рыдал, ревновал сначала. Я её разлюбил потом. Где-то здесь она проживала, где-то здесь опустелый дом. Но двойник мой рыдает, ревнует по ночам и среди белого дня. Вот ко мне он подходит вплотную и в упор глядит на меня. Это страшно, дрожат колени, головы не могу поднять. Он решает, что я привидение, и рыдает, ревнует опять». Вот такой перевод, отнюдь не буквальный, но ритмически соотнесенный с музыкой Шуберта. Когда я делал этот перевод, а это было очень давно, лет 40 тому назад, а то и больше, я не полагал, что здесь выражена одна из моих, очень важных для меня сейчас, версий. Двойник – встреча с самим собой. И она страшна. У Гейне и у меня. У Гейне в «Двойнике» страшно то, что он, этот двойник, повторяет те страдания, те муки, которые когда-то испытывал автор – лирический герой этого стихотворения. Вот на этом месте. Вот перед этим домом. Там какой-то человек. Свет луны падает на его лицо, и автор узнаёт себя самого. И спрашивает двойника, зачем он повторяет его юношеские страдания, зачем он повторяет его любовь. У меня тоже в моём переводе, если можно его так назвать, встреча с самим собою страшна. Но страшна она тем, что здесь прямо сказано, о том, что любовь кончилась. Я её разлюбил потом. И двойник не повторяет то, что было когда-то, а двойник продолжает испытывать то, что герой стихотворения уже утратил. «Вот ко мне он подходит вплотную и в упор глядит на меня... Он решает, что я привидение, и рыдает, ревнует опять». Ревность, рыдания, любовь – это реальность. А её отсутствие – привидение, призрак. Но это приведение, этот призрак – ипостась реального. Вот почему это страшно. И вот почему двойник не может

уйти. «Но двойник мой рыдает, ревнует, по ночам и среди белого дня». Не только в лучах луны, но повсюду происходит эта встреча.

И только в последние годы, когда я осознаю для себя мою ипостасную веру, мою веру в ипостасность, я по-настоящему понял, почему я именно так перевёл в своё время эти стихи. Ведь, в самом деле, с чем происходит встреча? С кем? С моей ипостасью или ипостасностью моего? И моего подлинного. Одно с другим очень близко, и вместе с тем различается. А теперь я понимаю, что такая встреча спасительна была бы для всех. Если бы они поверили в возможность, реальность ипостасности. Если бы любой, услышав благую весть об ипостасной правде, мог бы по ночам и среди белого дня, всмотревшись, встретить себя, узнать себя; того, каким ты был в иной ипостаси. И узнав себя на этом страшном суде встречи с самим собою, почувствовал бы опору в том благе, которое удалось совершить прежде. И ужаснуться и отшатнуться от той пустоты, от той губительной опасности, которая тоже была в твоей иной ипостаси. Которая есть всё равно ты, тот же самый, хотя и другой. Если бы целая страна, целый народ смог бы вот так встречаться с самим собою и так же на страшном суде этой встречи обретать опору. И ужасаться той бездне, которая подстерегает его, которая грозит ему сегодня и завтра. Нет, не завтра, сегодня. Да, вот, оказывается, недаром фантазия, ну, какой-то творческий момент, когда я пытался перевести этот текст Гейне, недаром все эти движения души повели меня к сегодняшней, осознаваемой мною сегодня версии. Осознаваемой мною сегодня вере. Я удивился, когда понял это. Текст моего перевода я случайно обнаружил бумагах, оставшихся после смерти близкой и далекой мне душе, после смерти Гали Чехматаевой, которая во многом была и далеко от меня, но временами оказывалась поразительно, страшно близка. Она каким-то образом не просто запомнила этот текст перевода. Она взяла листок, на котором он был напечатан ещё на машинке, и держала его при себе среди важных для неё бумаг, воспоминаний. Она не знала, что такое ипостасность, она мучительно уходила из жизни, она хотела жить. Она как будто прикасалась к своему двойнику, олицетворяющему уходящую, но ещё не ушедшую жизнь. И где-то рядом с ней лежал этот листок. И там было написано, что это мой перевод. Я взял этот листок. И содрогнувшись душой и сердцем, унес его с собой. Но только сегодня, только сейчас, прочитал своей памятью, своей душою, ожидающей встречи, смысл этих стихов. Да, он

именно таков. И поэтому надо всматриваться, очень внимательно всматриваться в то, что вокруг меня сейчас. И в то, что встаёт из памяти, и в то, что приближается оттуда. Из того мира, где уже есть то, чего пока ещё нет. И тогда встреча с двойником уже не будет такой страшной. «Это страшно, дрожат колени, головы не могу поднять». Вот сейчас я могу поднять голову, взгляд и встретить его взгляд. И этот озноб встречи не пробегает по мне. Я нахожу опору в том, чего когда-то боялся.

25 ноября 2019

Удивительно. И всё же это так. Уже Державин в оде «На смерть Мещерского» выразил психологически точно и современно, применительно к нашему сегодняшнему психологическому восприятию, уже тогда выразил мысль о том, что человеческая жизнь с самого начала – это прощание с жизнью. «Уже едва увидел я сей свет, уже зубами смерть скрежещет, как молнией косою блещет, и дни мои, как злак, сечет». Коса смерти, как коса, которая срезает стебельки трав, как злак, как траву, подрезает дни с самого начала жизни. А потом в одной из последних, ну предпоследних, строф оды он показывает, как это происходит. И как это становится заметно на рубеже приближения роковой границы.

И весь, как сон, прошёл твой век.
 Как сон, как сладкая мечта,
 Исчезла и моя уж молодость;
 Не сильно нежит красота,
 Не столько восхищает радость,
 Не столько легкомыслен ум,
 Не столько я благополучен;
 Желанием честей размучен,
 Зовёт, я слышу, славы шум.
 Но так и мужество пройдёт
 И вместе к славе с ним стремленье;
 Богатств стяжание минет,
 И в сердце всех страстей волненье
 Прейдёт, прейдёт в чреду свою.
 Подите, счастья, прочь возможны,

Вы все переменны здесь и ложны: -
Я в дверях вечности стою.

Да, получается так. Едва мы увидели свет и до последней минуты жизнь – это прощание с жизнью. И так устроено. Так сделала природа или Господь. В оде «На смерть Мещерского» о Боге, вроде бы, ничего не сказано. Всё совершается как будто бы не по его воле, а по воле какой-то стихии, какой-то совершенно неведомой силы. «Здесь персть твоя, а духа нет. Где ж он? – Он там. – Где там? – Не знаем. Мы только плачем и взываем. О, горе нам, рождённым в свет!» «Гробницы злость стихий снедает; зияет время славу стерть: как в море льются быстры воды, так в вечность льются дни и годы; глотает царства алчна смерть». Да, у самого Державина ода эта была каким-то особым рубежом. После такой оды, чем-то соотносимой с шекспировским трагедийным мироощущением, нужно было обязательно написать оду «Бог», что Державин и сделал. А уже потом появились другие стихотворения. Такие, как скажем, гениальная ода «Бессмертие души». Тоже психологически очень точная и вполне современная, порою дословно совпадающая с книгами Льва Толстого «О жизни». Да, но у самого Державина это был какой-то рубеж. В одном из стихотворений есть название «Успокоенное неверие». Может быть, такая ода, как «На смерть князя Мещерского», это есть неверие, ещё не успокоенное. В последней строфе оды, конечно, некоторое успокоение есть.

Сей день, иль завтра умереть,
Перфильев! должно нам, конечно:
Почто ж терзаться и скорбеть,
Что смертный друг твой жил не вечно?
Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой её себе к покою
И с чистой твоей душою
Благословляй судеб удар.

Вот здесь только проблеск будущей оды «Бог». «Жизнь есть небес мгновенный дар». А уже в оде «Бог» говорится: «Твоей то правде нужно было, чтоб смертну бездну преходило моё бессмертно бытие; чтоб дух мой в смертность облачился и чтоб чрез смерть я возвратился, Отец! – в бессмертие Твое». Эти строки обращены к Богу. Итак, жизнь есть небес

мгновенный дар. То есть дар, не только не долгий, но мгновенный. У Лермонтова, конечно, цитата из Державина: «жизнь ничего, а вечность миг». Это развитие той же державинской мысли и строки. Прощание с жизнью.

Но для того, чтобы с ней проститься, нужно её иметь и нужно её познать, насколько возможно, открыть для себя. А то иначе не с кем и не с чем прощаться. Это тоже одна из психологических точных, вечно современных подробностей оды, где явно Державин, во-первых, мощно наследует опыт не только Ренессанса (Шекспир), но, прежде всего, Просвещения. Он выписывал журналы, где печатался и Гольбах, и Гельвеций. И в его архиве лежит неизвестно кем сделанный перевод «Мыслей» Паскаля. Т.е. это уже 17 век.

Интересно, не эта ли ода подружила меня с Державиным в детстве? Мне попался в букинистическом магазине томик Державина, изданный неким Штукиным. Томик, интересный тем, что там тексты даны без их грамматической корректировки Грота в академическом собрании сочинений Державина. Правда, орфография и пунктуация догровская в издании Штукина не совсем точно воспроизводит то, что сам Державин принял в прижизненном пятитомном собрании сочинений своих. Но всё же она несет на себе особую печать того времени. И вот я сейчас уточненно вспоминаю, что именно ода «На смерть Мещерского» тогда вплотную сблизила меня с Державиным. Прощание с жизнью. Я это чувствовал уже в детстве. Но я остро тогда почувствовал, что прощание это у Державина выражено не только в прямых словах и строчках, но и в его словесной живописи, в этом удивительно и ослепительно подробном, детальном описании бытия и быта. Вот кто, действительно, был всеильным Богом деталей. Державин, оказывается, осознавал, что всё это богатство, почти ювелирно яркое и, казалось бы, вечное богатство бытия надо увидеть, надо найти для него какие-то точные слова и строки. И только тогда ты сможешь проститься с ним. «Едва часы протечь успели, в хаоса бездну улетели, и весь, как сон, прошёл твой век». В оде «Бессмертие души» сну уделена целая строфа. И там говорится о том, что и во сне присутствует сознание. Даже во сне без сновидений. Это почти дословно повторил Лев Толстой в «Книге о жизни», утверждая, что смерти нет. Так вот откуда это удивительное для всей поэзии, для всей литературы, не только 18 века. Но и в опыте поэзии предшествующей и последующей, не исключая Пушкина даже.

Такого богатства, такой роскоши, такого ювелирно яркого и нетленного, казалось бы, избытка деталей, цветных, пластичных, в поэзии не было. И ни у кого из великих поэтов нет. У нас у Гоголя это появляется. Недаром он оглядывался на Державина. Но потом это тоже как бы пропало. Вернее, не пропало, а было явно скорректировано, умерено. Той особой эстетической и поэтической меркой искусства, которая после Державина возобладала. И тем не менее Державин всё равно оставался гением, к которому хотелось вернуться. И Ходасевич недаром Державину посвятил столько своих усилий. И целую биографию Державина, которую он написал. Да и вообще, в своей поэтике, может быть, пытался стать Державиным нового времени. Всё равно не получилось.

Да, раньше я так не думал. Мне кажется, что в этом есть правда. Чтобы проститься с жизнью, нужно её постичь, нужно её прожить. Это одна из моделей мира, которой искусство Державина даёт почву и материал. «Сын роскоши, прохлад и нег». «О, 18 век», – восклицал Белинский, цитируя эти роскошные строки. Но в них, в этих строках, «сын роскоши, прохлад и нег», – тоже выражалось прощание с бытием. Да и написана эта ода Державиным была не в самой ранней молодости. Поэтому он и замечает: «как сон, как лёгкое мечта исчезла, и моя уж младость». Шедевры Державина явились поздновато, по сравнению с опытом Пушкина. Это придает уникальный, особый смысл и его словесной живописи, и тому удивительному, библейскому тону, который присущ оде «На смерть Мещерского»: «глагол времен, металла звон». И к шекспировскому звучанию это близко. И уже Благой заметил точки соприкосновения этой оды и монолога Гамлета «Быть или не быть». И не только этих строчек, но и целых строф в сонетах. Удивительное это для меня вновь открытие, потому что я интуитивно это почувствовал в отроческие годы. Потом я приобрел эту книгу Штукина, где обильно, разумеется, не полно, достаточно обильно, в старой орфографии и пунктуации, догровской, предстал этот роскошный, этот детальный, этот психологически обогнавший время и точный поэт. Я приобрел эту книгу. Вот она стоит у меня на полке. На другой, не на той, где гровский Державин в восьми или в девяти даже томах. Последнего тома у меня нет. Вероятно, такое вновь открытие что-то для меня значит. Я пытался сам, хоть немножечко, хоть на какой-то миллиметр приблизиться к Державину в этом детальном восприятии жизни. Когда краска реального, природного или

бытового, вещественного, предметного бытия воплощается в ювелирном, долговечном, если не вечном, существовании и закреплении. Ну, разумеется, где мне состязаться с великим Державиным. Но есть у меня в поэме о предчувствии рождения «Перед рождением». Там много ювелирных камней и самоцветов, передающих мгновенное состояние уходящего из жизни и предощущающего новое рождение, новую ипостасную явь человека. И один из наших писателей, наверно, использовал эти строки в своей специальной работе, где его интересовало, какие драгоценные камни и как, и почему возникали в стихах разных поэтов. Из моих поэм там можно было кое-что почерпнуть. Но, конечно, с россыпью державинских самоцветов это в родстве, но в родстве весьма сыновнем и скромным. «Алмазна сыплется гора с высот четырёх скалами». «Алмазна сыплется гора». У Пушкина не было такого богатства, как у Державина. Может быть, поэтому он среди смелых выражений мировой поэзии назвал и эти строки из оды «Водопад». Смелость здесь выражалась в попытке удержать и навсегда закрепить мимолетное, соединить неразрывно познание мира и прощание с ним; прощание и открытие мира, рождение себя в нём. Если удастся одно с другим соединить, получится та особая, восточная (всё-таки Державин потомок татарского мурзы) поэтика его од.

Потом Есенин ослеплял богатством красок. Но они были не ювелирной природы. Природа там была другая. «Неизреченностью животной напоены твои холмы». «Льётся по долинам березовое молоко». И вообще все уподоблено живому и животному в своей теплоте и родственности человеку, миру. Не только крестьянина, вообще землянина. Так что словесная живопись Есенина немножко другой природы. Но ведь Есенину, как и Державину, свойственно это ощущение бытия, как того богатства, с которым надо с самого начала прощаться. «Я пришёл на эту землю, чтоб скорей ее покинуть». Здесь, конечно, есть перекличка с Державиным. Черпать такие примеры можно обеими пригоршнями. Я пытался написать – целая статья была о Державине и Есенине. Но, конечно, там не исчерпано, далеко не исчерпано богатство этих соприкасающихся державинских и есенинских образов, соприкасающихся при всём расхождении. При всей разноприродности их. Ну вот, слава Богу, я не прошёл мимо себя самого и в этом увлечении Державиным. А эти попытки сблизиться с ним? Не есть ли это мгновение узнавания в Державине своей ипостаси? Разумеется, тут нет

никаких попыток уравнивать себя с ним. Конечно, нет. Но узнать в Державине свою ипостась – это серьёзно. И если точно, в определённой особой мере, применяя эту возможность, попытаться установить этот межипостасный контакт с возможной непостижимой взаимопереходностью. Как будто он оттуда своими образами посылает мне привет. И ободряет меня на моём пути. Он приходит ко мне. То, что я иду к нему, совершенно несомненно. Но, оказывается, и обратно. Можно в шутку или всерьез предположить. И в детстве я это сделал. И это детское чувство родства с моим Державиным остаётся и останется у меня до конца моих дней, часов и минут.

26 ноября 2019

Ещё одно детское открытие. Вот я лежу больной в своей никелированной кровати. Мне 8 лет. Родители ушли: отец – писать эту, ещё один, и на сей раз без меня. Все же я заболел и остался дома, не пошел в школу, слава богу. Мама ушла куда-то. И вот я один. Передо мной несколько выпусков истории пейзажной живописи Бенуа. И я с улыбкой сам себе повторяю: это мой домашний Эрмитаж. И в самом деле, это то, что я мог видеть, во что мог всматриваться, не уходя из дома. Ранним, очень светлым утром, забыв о том мире, который меня встретил бы в школе и к которому я так пока ещё и не привык. Я ведь пошёл сразу в третий класс, первые два пропустил. И в Киргизии меня ни в какую школу не отдавали, мама со мной занималась. Она была учительницей по всем предметам, ну как это обычно и бывает в начальных классах – одна учительница ведёт всё. А тут – моя мама. А когда я сразу в третий класс пошёл, мама подарила мне четырехтомник Лермонтова в хорошем издании Маркса. И до сих пор эта книга рядом со мной, и каждая страница памятна. И я сразу начинаю дышать воздухом тех утр, когда я всё же не пошёл в школу. А страницы, те самые, теперь уже уходят из моего зрения. Мне уже нужно очень-очень сосредоточить себя, чтобы вновь читать эти страницы. Впрочем, делать это легко. Я помню на память, помню наизусть каждую страничку. Там мама мне и написала, что это подарок в день рождения в тот год, когда я пошёл в школу сразу в третий класс. Отец ещё тогда не писал картину прямо в Эрмитаже, в одном из выставочных залов, посвященных войне 12 года.

Там он писал картину потом – «Зал русской славы». И тогда я мог прийти в Эрмитаж. Без билета меня пускали, и весь Эрмитаж был моим домом. Я возвращался в этот зал, где отец поставил свой мольберт, бродил по залам. Возвращался, и весь этот необъятный эрмитажный мир был моим. Но это случилось немножко позже. А я вспоминаю утро, когда этого ещё не было. Я был должен лежать в кровати, хотя я придумал свою болезнь, я притворился больным, чтобы не идти в школу. Я думаю, что мама догадывалась, как я пытался, когда мне ставили утром градусник, осторожно нащёлкать себе температуру. Научился это делать. Короче, я был один в нашей малой комнате той старой квартиры, лежал в своей никелированной кроватке, в которой ещё до войны засыпал и просыпался. А передо мной, вот на коленях у меня, потому что я сидел на кроватке, лежал один из выпусков пейзажной живописи Бенуа. Это был мой домашний Эрмитаж.

И там одна из картин изображала Святого Иеронима, занимающегося переводом Библии. Библии тогда, текста самого, у меня ещё не было, но я воображал его. Святой Иероним, могучий старец, атлет, был изображён где-то лежащим в пещере или при входе в пещеру. Надо эту картину сейчас возобновить в памяти. «История пейзажной живописи» тоже рядом со мной, как и Лермонтов. Эта книга моего детства, уже переплетенная. Надо найти ее и проверить. Как хорошо, что кое-что я забываю. И только память рисует передо мною образ, уходящий во тьму. Так вот, на этой картине изображён Иероним, старец, могучего телосложения, наполовину обнажённый, что-то пишущий. Это перевод Библии. Это я знал. А за его спиной стоит ангел и ласково прикасается к его голове, к его старческим кудрям. И когда я видел эту картину, по репродукции, светло-коричневой, перекрытой калькой, когда я отодвигал эту кальку, картина вновь вставала передо мною, меня охватывало удивительное чувство. Как будто я понимал, какое великое открытие было когда-то в средние века сделано. Вот этим Иеронимом.

Это было открытие души. Он не просто переводил Библию, как мне думалось. Он ощущал в себе присутствие своей души, он как будто осязал её в себе самом. И спешил делать свой перевод, потому что душа могла уйти из этого могучего старческого тела. И он беспокоился не за свою душу. Он знал, что она бессмертна. Открытие состояло в том почти физическом ощущении, ощущении души, которая вот-вот может отойти из тела и остаться собою. И открыть для себя новую, иную, даже не жизнь, а иное существование, для

которого она, душа, предназначена. Но Иеронима связывало с тем миром, из которого душа могла уйти, вот эта необходимость перевести святой текст. Время ещё оставалось, душа не уходила. А ангел, который стоял за спиной у Святого Иеронима, ему невидимый, но хорошо видимый мне на картине, ещё не брал с собой его душу. Но прикасаясь к его голове, как будто подсказывал ему, что он может эту душу взять.

И когда я смотрел, уже в который раз на эту картину, однажды, таким светлым солнечным утром, когда я тоже был болен и не пошёл в школу, и никого не было дома, ни папы, ни мамы, только я, наедине с моим домашним Эрмидажем, я почувствовал в себе самом, впервые почувствовал в себе самом, – эту душу мою. Каким-то особым осязанием я ощутил её в себе и ощутил как бессмертную, у Иеронима. И можно было успокоиться. И меня, уже видевшего немало смертей в блокаду, первую блокадную зиму здесь, в Ленинграде, стоило только выйти вовремя обстрела на прогулку с мамой. Мама гуляла со мною даже во время обстрела, видимо, думая, что так безопасней. Кто знает, что станет с нашим домом при попадании в него. Быть может, на тротуаре, где мы гуляли с мамой, прикрытом нашим и соседним домами, безопаснее. Дом рухнет, а мы ещё останемся. И я видел тогда в траншее, которая была вырыта перед домом, зелёный трупик ребёнка в тряпках, брошенный и неубранный. Смерть я видел. Но тут, война ещё не кончилась, мы вернулись из эвакуации, из Киргизии, я пошёл в третий класс. И вот сейчас, слава Богу, один-на-один с моим домашним Эрмидажем, видевши уже то, что ребёнок, наверное, не должен видеть, я был спокоен за мою душу. Я знал, что она не была ещё уж очень грешной. А то, что она бессмертна, я чувствовал. Я знал, что у меня за спиной, в малой нашей комнате, у кровати не стоит ангел. Но я как будто чувствовал его прикосновение не к голове моей, а к плечу. Это прикосновение передавало мне то особое знание, которое я обрел этим утром.

Знание это было физическим почти ощущением своей души, которая, не будучи грешной, уже была бессмертной. Я это знал и не сомневался в этом. Даже не надо было как-то по-особому в это верить. Я просто это знал. Но в моем ощущении было то, что с тех пор не покидало меня всю жизнь. Горькое чувство. Я не хотел расставаться с этим миром. Но я знал, что душа, которую я почти физически ощущал в себе, может отделиться, может оставить меня. И тогда она будет видеть эту комнату и эти выпуски «Истории

пейзажной живописи» как бы с высоты каких-то небес, но не отсюда. И я не хотел расставаться с этим радостным и страшным миром, где я уже столько видел, где за окнами нашего дома, нашего третьего этажа, был тот ещё не познанный мною, непознаваемый пока мир, куда ушла мама, ушел мой отец писать этюды. Какой-то из своих этюдов. Вот этот мир душа моя могла покинуть. Я вдруг почувствовал, что она вроде бы отделяется от моего тела. И я подумал, что Святой Иероним переживал точно такое же чувство, точно такое же ощущение своей бессмертной души. И он, переводя незнакомую мне Библию, видимо попросил, просил Бога в этот момент, чтобы тот оставил при нем его душу, его бессмертную душу. Чтобы он не брал её к себе, дал ему ещё несколько дней его святой старческой жизни. И я, помнится, признаться в этом грешно, но это было, я тогда шёпотом попросил Бога не брать и мою детскую душу, оставить её во мне. Я быстро оглянулся, чтобы посмотреть, кто стоит у меня за спиной. Никого не было. Я опять стал рассматривать Святого Иеронима, внимательно вглядывался в этого ангела, который был виден мне и не виден святому. Всмотривался в эту картину. И любил мир, который меня окружал, как, пожалуй, никогда.

И вот сейчас, проснувшись уже старцем, я испытываю то же чувство, то же ощущение того, как душа отходит. Или готова отойти из моего тела. Но я знаю, что это не та бессмертная душа, в существовании которой я не сомневался в детстве. А это моё сознание, это моя ипостась готова выйти из меня и перейти в другое своё бытие. Но я точно так же, как в детстве, прошу того, кто всё это сотворил и продолжает творить со мной и во мне, прошу его не делать этого. Дать мне еще несколько дней, продлить жизнь моей ипостаси. И чувствую, это несёт в себе ту же ещё детскую горечь и ту же, ту самую детскую радость, которая тогда охватывала всего меня. Да, это совсем новое ощущение, совсем новое переживание и чувство, но оно то же самое. То же, каким было тогда.

27 ноября 2019

Эта книга возвращала меня к себе всю мою жизнь. Начиная ранним-ранним детством, ещё во время эвакуации в Киргизии, когда мне было 6 лет. Отец приносил из Фрунзе в наш посёлок Нахаловку хорошие книги из библиотеки. И среди них был томик «Дон-Кихота», изложенного для детей

без диннот, без вставных новелл, без этого многообразия стилей, которые есть в полном «Дон-Кихоте», и с рисунками Доре. И книга эта, как и положено в детстве, стала моей детской Библией. А я с самого начала по-своему понял безумие Дон Кихота. Безумие его я воспринимал как детскую игру в то, что составляло, казалось бы, сюжетную суть безумия Рыцаря печального образа. Для него это было всерьёз. Но естественно, он взрослый. А для меня это же самое – игра. Уж больно хорошо было это безумие. И уж очень оно напоминала возможность играть, подсказывала эту возможность. Ну, почти всё так же, как у Маяковского в детстве было. Вторая книга, которую он узнал и которая его примирила с чтением, был как раз «Дон Кихот». И вот он в автобиографии своей рассказывает, как он тоже играл в Дон Кихота и разил окружающее. Тоже. Это я тоже играл. Хотя вот в детстве я почти ничего не знал о Маяковском. Кое-что всё-таки знал. Отец, в каком-то издании, может быть, даже этого был журнал «Огонёк», который он тоже приносил из библиотеки, прочел вслух мне несколько строк Маяковского и сказал: «Вот это совсем не то, что Пушкин». Это я помню. Мне было 6 лет. И вот для него метафора было игрой. Но твой особой игрой, по которой строилась жизнь и смерть его. Это особый разговор. Но я очень хорошо с детства понял судьбу поэта, который всю жизнь был Дон Кихотом в поэзии. И метафора выражала сущность его, этого особого сознания себя самого. И вместе с тем, была осознанной формой игры в самого себя. Игры, которая была значительно больше, чем игра. Она была его безумием, стала его судьбой, это игра. И даже привела к смерти. Ибо 7 лет после поэмы «Человек». И является поэма «Про это». А после «Про это» – тоже 7 лет, и уход из жизни. Конечно, это та особая игра, которая определяет судьбу. Но о Маяковском особый разговор. Он сыграл такую роль в моей жизни, и в разные годы, в разные десятилетия – по-разному, что у меня к нему какое-то сакральное отношение. Такое, как у Мигеля де Унамуно к Дон Кихоту. Вот передо мной поздняя книга – поздняя в том смысле, что я узнал о ней значительно позже и сразу приобрел: «Житие Дон Кихота и Санчо». Да, житие – по Мигелю де Сервантесу, объясненное и комментированное Мигелем де Унамуно.

Он, как мы знаем хорошо, создал особую религию – кихотизм – и был, может быть, единственным верующим, исповедующим эту религию. Это замечательная судьба. Счастливы цельностью своей личности Мигель де

Унамуно. Он даже умер, когда, разгоряченный разговором с одним из своих гостей-оппонентов, горячо защищал свой кихотизм. Он так разгорячился, испытал такое волнение, такое переключение из себя самого в Дон Кихота, что жизнь его оборвалась. Но к этой книге я возвращался по-разному в разные годы. В детстве – игра, которая по-своему тоже стала судьбой. Я всю жизнь в какой-то мере, да, Дон Кихот. Но игра переставала быть игрой, а становилась судьбой. Жизнь её – голгофой, а верность себе самому – точно, была моим распятием. Я и сейчас в ладонях ощущаю боль вонзенных гвоздей. И моя верность Христу, а это, действительно, верность, это особая форма, особая сущность, особое существование, особая ипостась моего кихотизма. И наоборот. Мой кихотизм есть особая ипостась этого молитвенного, любовного, сакрального приятия Христа. Надо сказать, что ещё довольно долго я не открывал этой книги. Она как бы оставалась в детстве. И вот наступил кризис, в студенческие годы. Я ведь был всегда, казалось бы, верен своему, ну так можно сказать, призванию. Ощущение стиха, вот этой особой интонации, с которой я когда-то еще в детские годы пытался себя выразить. И Лермонтов был для меня первым и главным поэтом, за исключением Пушкина, которого я приберегал для более поздних лет жизни, приберегал для себя. И однажды, по слову матери, назвал своим учителем. Но Пушкин не был Дон Кихотом. И Лермонтов тоже. Я был верен своему предназначению, казалось бы, для того, чтобы думать стихами, писать стихами.

И вдруг я почувствовал, что этот язык, этот голос недостаточен для того, чтобы я мог выразить себя. Для меня недостаточен. И тогда, я помню, я лёг, вечером, поздним вечером, на железную крашеную солдатскую кровать отца, где я спал уже в это время, в эти годы, будучи студентом, и открыл второй том «Дон Кихота». Так получилось, что у меня полного текста не было, а был только второй том издательства «Academia». Там не было рисунков и гравюр Доре, но там были какие-то ценные для издания текста иллюстрации. И я решил себя попробовать в прозе. Именно тогда наступил кризис. Вопрос о соотношении стихов и прозы для меня, именно для меня, стал важнейшей, постоянно жившей во мне темой для раздумий, проб и метаний между этими двумя мирами литературы. Потом я уже узнал, что и «Гаргантюа и Пантагрюэль», и «Дон Кихот» это ещё не настоящая проза. Не та, какая явилась, когда впервые открыл её властную силу, ее

универсальность Генрих Гейне. О нём справедливо писали, что он первый уравнил прозу и стихи. Но для меня это было проза. И свободное, не скованное ритмом и рифмой поэтическое самовыражение. Я ведь не просто раскрыл второй том. Я читал его вслух, так, чтобы мама не слышала. Но, наверное, она в нашей большой комнате, где стояла её кровать, ночью всё-таки или перед сном что-то слышала, но ни разу мне ничего не сказала об этом. Я знал, что она знает о том, как я читаю «Дон Кихота» вслух, знает, но не скажет. И я оставался с книгой один на один. Я почувствовал какую-то особую свободу в этой возможности себя выразить так, как это сделал Сервантес со своим Дон Кихотом. Вот эти первые главы второй части романа, содержащие в себе разговоры, беседы Дон Кихота, ещё не выздоровевшего после возвращения домой. Разговоры о рыцарских романах с упоминанием Ариосто, Лудовико Ариосто, моего любимого поэта в отроческие годы, который, как и Сервантес, мне казалось, был счастлив тем, что отдавался свободно, как сам Дон Кихот, фантазии, воображению. Этому удивительному сюжету «Неистового Роланда». Тогда я очень захотел перевести поэму. Но это нужно было делать стихами, а передо мной встала возможность попробовать себя в прозе. И я вчитывался в каждый абзац, каждую фразу второго тома, начиная даже с предисловия авторского, где он советовал, как надо писать такой роман. К какой прозе нужно стремиться, как выстраивать эти гармоничные, совершенные в стилевом отношении периоды прозаического текста. Да, даже ни фразы, не предложения, а именно периоды.

Метания мои были очень серьезны. Какое-то время я даже запрещал себе писать стихи. А тут произошла ещё одна встреча, тоже многое определившая в моей судьбе. Встреча с Леонидом Соловьёвым, автором романа о Ходже Насреддине. Он как-то послушал на вечере в гостях у скульптора Черницкого, моего большого друга, старшего друга, уже профессионального скульптора, разумеется. Он послушал мой рассказ о композиторе, который поднялся настолько в своём самосознании, что уничтожил свою оперу, клавишное произведение. Ну вот этот рассказ, большой, Леонид Соловьёв терпеливо выслушал. А дело в том, что его книгу «Возмутитель спокойствия», часть романа о Ходже Насреддине, издавали. И мы её хорошо знали в детстве, я и мои ровесники, выходили фильмы по этой книге. А автор был в ссылке, репрессированный за какой-то анекдот,

который он рассказал во время войны. А я увиделся с ним, когда он вернулся из ссылки, реабилитированный, в эту эпоху «позднего реабилитанса». Вот он терпеливо выслушал, сказал, что настоящая проза у меня пойдёт лет через пять-шесть. А пока мне нужно всё время пробовать себя, писать вот такие стихотворения в прозе, миниатюры, ежедневно, на свободные сюжеты, стараясь точно передать то, что в этот момент я воображал, чувствовал и хотел выразить словом.

Сейчас, с диктофоном в руках, я делаю то же самое, что тогда пытался делать авторучкой на белом листе. И у меня очень много, не уничтоженных, в моём архиве таких прозаических миниатюр, таких стихотворений в прозе. При этом он говорил мне, что, несмотря на то, что рассказ мой ему не понравился, это хороший рассказ. И что я, как прозаик, одарен, он это чувствует уже сейчас. Но скажется это потом, когда сама жизнь заставит говорить точно, в соответствии с особой природой прозаического слова. Ну что ж, я эту особую природу, ипостасную по отношению к стихам, пытался применить к себе самому. И, наверное, я правильно поступил, последовав совету Леонида Соловьёва. А он, мы с ним ещё увиделись у него дома, когда он почитал мои стихи и уже посоветовал их печатать, а потом, увидев мой вопрошающий взгляд, поймав его на моём лице, в моих глазах, он сказал: «Вот видите, над моим письменным столом полка. А на полке стоят три романа, три книги – «Дон Кихот», «Легенда об Уленшпигеле» и мой «Насреддин». Вот без первых двух книг не было бы третьей, моего героя, моего романа. Но «Похождения Насреддина», вообще вся книга о Насреддине, первая и вторая часть, это не то, что романы Шарля де Костера и Сервантеса. Не бойтесь подражать. Это,- сказал он, – я советую только тем, кто предназначен стать прозаиком. Подражание для тех, кто не предназначен к этому, тупик. А для того, кто будет прозаиком, это непременно, естественная, я сейчас сказал бы за Леонида Соловьёва, ипостасная форма обнаружения себя самого, своего стиля, своей интонации. Это непременно прорвется, это непременно даст о себе знать. И вы, – говорил он мне, – вы это почувствуете. И когда вы это почувствуете, настанет время для вашей прозы. А сейчас пробуйте, пробуйте себя. Вы ещё не написали ни одной фразы своей. А потом, даже в том, что будете писать сейчас, вы будете находить себя».

Я помню этот разговор. Я последовал ему, и опять произошла встреча с Дон Кихотом. Вот тогда я вновь и вновь открывал второй том романа. А потом где-то в книжном магазине купил и первую часть. Но я понял, что для Сервантеса второй том был совсем особым. Что именно когда он творил свой второй том романа, он по-настоящему почувствовал, что он создаёт. Поэтому и появились эти, казалось бы, не особенно сюжетные главки. Главки, казалось бы, ни о чём. Но в них так тесно, так глубоко, так ипостасно слитно оживали и сам Сервантес, и его герой. И герой этот переставал быть безумцем, оставаясь им. И его, Сервантеса, отношение к своему герою изменилось. Как только оно изменилось, он обрел счастье своей прозы. И это счастье было недостижимо ни для кого, кроме самого Сервантеса, но он как будто одаривал им и меня в этой изумительной прозе. А я тогда читал её как подлинную прозу, включающую в себя стихотворные тексты, но одарённую изнутри особыми возможностями, более широкими, более свободными, чем стихотворный текст. Я читал эту прозу, и в ней читал некое обещание того, что когда-нибудь я найду себя. Ну и вот, когда вроде бы что-то получилось, когда появились первые строки, которые я признавал своими, произошла новая встреча с Дон Кихотом. Это была встреча с книгой Мигеля де Унамуно «Житие Дон Кихота и Санчо». Но сейчас я смогу читать второй том в основном по памяти. Хотя лупа лежит рядом со мной, и никто не мешает мне раскрыть ту самую книжку в издательстве «Academia», которая так определила мою судьбу, мою игру в Дон Кихота, ставшую моей жизнью. И те самые повести или романы, которые пришлось написать, найдя даже некий особый способ писать прозаический текст. Ну, об этом, вроде бы, я уже говорил самому себе. И сейчас я, на некоем расстоянии от своей собственной прозы, по памяти становлюсь читателем самого себя.

28 ноября 2019

Полночи не спал, потом моё ипостасное сознание отключилось. Когда я утром вновь обрел себя самого, только тут я кое о чём догадался. И эту догадку, вчерне, первыми приходящими ко мне словами попытаюсь выразить. Оказывается, мое взросление, и в самом деле, проходило под знаком двух писателей. Писателя и поэта – Сервантеса и Данте. И вначале был Сервантес. Мне вот было как-то в детстве, и я повторю то, что вчера

самому себе говорил, в детстве мне было как-то понятно, что Сервантес по особому относится к безумию Дон Кихота. Что для него это безумие было освобождающим способом игры в человека. Такого, каким он хотел бы, чтобы люди были. Но в первом томе он ещё с сожалением и какой-то особой усмешкой всё-таки писал о безумии своего героя. А во втором томе безумие стало особой такой внутренней силой самоутверждения Дон Кихота. Вот почему финал романа трагичен. И мне уже в детстве хотелось плакать о Дон Кихоте. Да и сам он, как только излечился от своего безумия и стал обычным для всех, приемлемым для всех Кихано, он умер. И Санчо со слезами, с рыданиями, прощался со своим господином. Сервантес относился к безумию именно так.

А ведь одухотворяющей силой этого безумия была любовь к Дульсине. И было ясно, что это выдуманная любовь, сыгранная любовь. Но выразившаяся в безумии, как вот в той особой степени, когда игра становится жизнью, судьбой. Когда игра перестает быть безумием. Но это совершенно очевидно, и каждому взрослому читателю понятно. Но у меня в детстве произошел какой-то особый переход от игры в любовь. В 6 лет у меня тоже была своя дама сердца, оставшаяся в Ленинграде. Вернее, та, с которой я был дружен в Ленинграде. Потом она тоже была в эвакуации, очевидно, вернулась в Ленинград и ждала меня там. Я даже пробовал писать стихи, посвящённые ей. Называл её моей одинокой подругой. Всё это по-детски трогательно и смешно. Но это была не просто выдуманная любовь. А было то какое-то высокое чувство, которое открывало мне меня самого. И вот первые строки-то мои, которые мне продиктовал какой-то голос ночью (и я об этом рассказывал) там, в Киргизии. И я проснулся посреди ночи и стал их шептать: «Зачем бесчувственных рабов в стране так много накопилось». Голос мне диктовал, а я видел свою даму сердца. Она сидела так, как её мог бы нарисовать Доре на одном из своих рисунков к «Дон Кихоту». Сидела, опустив руки, и слегка повернув в сторону голову, как бы не видя то, что перед нею было, и даже не видя меня, а глядя куда-то, думая о чём-то и, может быть, вдохновляя своего рыцаря на что-то. Вот я видел её образ, а голос диктовал мне эти первые мои строки. Чувство это взрослело. И когда я вернулся в Ленинград и встретился с моей дамой сердца, уже игры не было. Но не было и того чувства. Я как будто переживал внутреннюю, высокую

какую-то, хотя и детскую, потребность в любви, которая ещё ко мне не пришла. И вот мне исполнилось 8 лет, почти 9, но ещё 8.

И тут я открыл для себя Данте. Я узнал о его любви к Беатриче. И уже думал о том, что это произошло с Данте, когда ему исполнилось 9 лет. Так он сам рассказывал в своей книге «Новая жизнь». Я был на подступах к этим девяти годам, и мне не посчастливилось увидеть свою Беатриче. Но я понял Данте. Тут уже не было никакого безумия и не было игры, а была та серьёзность чувства, которая мечталась мне. И как будто уже во мне начиналась. Это всё всерьёз. Я рассказываю, как было, хотя это кажется какой-то выдумкой тоже, игрой, чем-то странным. Но безумием это уже не было. Да, я понял Данте изнутри как рыцаря своей дамы, который, в отличие от Дон Кихота, прожил другую, серьёзную и не помеченную безумием жизнь. Я вчитывался в строки литературной энциклопедии, той статьи Дживилегова о Данте, которая была вначале главным источником моих знаний о поэте. Но потом, взрослея и читая о Данте всё, что можно было, я сохранял в себе это детское, серьёзное ощущение, предощущение, предчувствие какой-то своей судьбы.

И пусть Беатриче у меня не было, сама серьёзность этой любви к отсутствующей Беатриче была подарком мне, восьмилетнему. В 9 лет я уже, как рассказывал, пытался написать для себя текст первой песни «Божественной комедии», чтобы он у меня был, так как иного текста тогда ещё под руками у меня не было. Но вот мне купили Данте в переводе Чуминой, текст появился. Я стал в него вчитываться. И я понял, что этот удивительный текст, до сих пор поражающий читателя необъятностью фантазии и глубочайшей серьёзностью в отношении к себе самому, поэту. Я вчитывался в этот текст ещё в этом переводе-пересказе и понимал, что всё это создано. Вся судьба человека была создана его рыцарской поэтической любовью. И сейчас я так тоже, немножко приподнятым таким тоном, самому себе рассказываю о том, что я переживал тогда.

Мне было понятно, что судьба любого человека, который себя находит, это особая судьба. Может быть, даже не очень понятная даже самым близким людям, даже отцу и матери, тем более ровесникам, знакомцам по школе в том третьем, а затем четвёртом классе, где я учился. У меня был свой внутренний мир, в нём я оставался один на один с собою, и этот мир раскрывался уже мне в таких по-детски воспринятых категориях ада,

чистилища, рая. Моего религиозного чувства. Чувство любви, которого тогда ещё не было, но которое ожидалось, перешло в религиозную веру. А это было уже совсем серьёзно, и я понимал, что я иду каким-то особым путем. Что я внутренне живу не так, как другие. И эта жизнь была моим способом себя найти или начать поиск себя самого. А моя Дульсинея Тобосская, в это время мы иногда встречались с ней на площадке, перед домом, где проходило наше детство, она хвасталась тем, как хорошо она учится, тем, что она отличница. Она прыгала на скакалке и, свысока поглядывая на меня, как будто посмеивалась над тем, как плохо и трудно я учился. И как я отнюдь не успевал в моём третьем, а затем четвёртом классах, и что я какой-то не совсем такой.

И мне было совершенно ясно, что это не дама моего сердца. Её нужно было найти. Но я уже понял, что на пути этих поисков своей Дульсинеи и своей Беатриче я найду себя самого. Дульсинея становилась Беатриче. В «Новой жизни» Данте рассказывал о том, что через 9 лет после той особой встречи с Беатриче, после детских игр с нею, когда какой-то голос ему сказал: «вот дух, который сильнее тебя и который будет владеть тобою». После этого мгновенья, достойного войти в книгу о новой жизни, должно было пройти еще девять лет. И я ждал этого возраста. Но уже у меня были другие способы измерения жизни, у меня был какой-то свой, я чувствовал, отличный от Данте путь.

Я ещё ничего не сделал, я ничего не сочинил. Никаких духовных открытий, кроме погружения в книги, любимые мною, у меня не было. Но была та предельная напряженность, та напряженность, которая совершенно исключала мысль о безумии Дон Кихота. И наоборот, открывала возможность другой, отнюдь не безумной судьбы, которой будет увенчана «Божественной комедией». Так и совершился переход от Сервантеса к Данте. И он настолько серьёзно совершился, что я на время даже забыл о Дон Кихоте. Книга о нем перестала быть моей библией. Я открыл настоящую Библию, вчитывался в Данте, уже имея другой перевод и даже не один. Мне очень многое открывалось, и я погружался в этот мир по-своему, потому что мне было ясно, что да: ад, чистилище, рай совершаются в реальной жизни, вокруг меня. Нужно всматриваться в мир, нужно пытаться найти свои слова, чтобы передать своё противостояние этому миру. А противостояние было – в религиозном чувстве. Я был глубоко верующим, обеспокоенным тем, что

другие были далеки от религиозного чувства. И я ведь это выражал вслух. Кому-то, может быть, это могло показаться безумием, но никто мне об этом не говорил. Взрослые, правда, тревожились, видя, что я какой-то не такой, что я отстаю от жизни, как говорили мне. И со мной даже так здоровались мои ровесники по школе: «Эй ты, отстал от жизни»,- кричали они, увидев меня. Я с гордостью принимал это обращение, потому что на самом деле я знал, что ни от какой жизни я не отстал, а просто всматриваюсь в неё другими глазами. «Зачем бесчувственных рабов в стране так много накопилось». Строки эти я тоже забыл в это время, но они как будто неслышно звучали в душе.

И я понемногу в поступках, моих детских страданиях, в том, как я плохо учился, потому что учился по-своему и своему (у меня были другие учителя), что я понемногу, шаг за шагом, поступок за поступком, день за днём находил себя. Я чувствовал, что я уже не могу сбиться с этого пути. И так я дошёл до того момента, того мгновения, о котором рассказывал в прошлый раз. Когда я открыл второй том «Дон Кихота». И когда поэзия, воплощенная, олицетворенная в образе Данте, встретилась с прозой, которую олицетворял Сервантес, автор «Дон Кихота», по-особому относящийся к безумию своего героя. Тот автор, который, свободно владея роскошным словом, понемногу изменял самого себя, общаясь с Рыцарем печального образа. И может быть, печалась о том, что сам он так и не стал рыцарем. Ещё раз повторю и пока подытожу мою утреннюю мысль. Так совершился мой переход от «Дон Кихота» к «Божественной комедии». И так в глубине моей, отнюдь не созданной поэмы, которую я неосознанно каждый день пытался воображать, предчувствовать, как в глубине этой несозданной моей поэмы утверждался второй том «Дон Кихота».

29 ноября 2019

В романе Сервантеса есть выдуманная, воображенная Дульсинея Тобосская. В поэме Данте есть Беатриче Портинари, которая, как рассказывает поэма, оказывается подлинной. Она спасает Данте на середине жизненного пути. Она встречает его в земном раю горы чистилища. И она возносит поэта к Богу. Можно размышлять о том, что это тоже выдуманная Дульсинея. Но Данте так не считал. И его вера не было безумием. Больше

того, эта вера в Беатриче определила жизнь поэта. Он посвятил ей всё: всё в своей судьбе, и свою поэму. И это знак того, что Беатриче есть. А в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» нет ни Дульсинеи, ни Беатриче, но есть серьёзный и есть скреплённый особым дружеским чувством поиск Беатриче. Конечно, Рабле не только иронизирует, но каким-то особым состоянием души откликается на поиски ответа – жениться Панургу или нет. И волшебница Бакбюк прямо говорит о том, что ответ на этот вопрос – это вера в подлинного Бога. В ту окружность, центр которой везде, а граница, собственно сама окружность, – нигде. И завет, раблезианский завет – пейте! Тринк! – говорит о той высшей мудрости, которую Бакбюк предлагает пить всю жизнь. Которая и есть любовь и счастье. И тот, кто будет пить эту божественную влагу мудрости, найдёт свою Беатриче.

Вот именно так для меня и соотносились 3 великие книги. Конечно, я не говорил с самим собою на том языке, на каком говорю сейчас. А с другой стороны, сейчас я говорю на каком-то немножко искусственном языке с самим собою, как будто пытаюсь вернуть невозвратимые чувства и слова моих отроческих верований. Но я чувствовал, что эти три книги соединяются каким-то особым способом. И этот способ завещан мне. Данте говорит о реальности, о возможности, о том особом преимуществе веры, которая даёт счастье знать, что Беатриче есть. «И наибольшее из преимуществ – всё время знать, что Беатриче есть». Роман Рабле говорит о неизбежности вечных поисков той Беатриче, которая существует, не придумана и спасительна для мира. А роман Сервантеса утверждает парадокс. Отвергаемые, осмеянные в романе книги о рыцарях оказываются правдивыми, ибо в них живёт и будет жить вера в справедливость, в рыцарскую защиту добра и тех, кто нуждается в помощи и защите. Как бы ни был комичен этот порыв Дон Кихота, он, на самом деле, есть высшая серьёзность человеческого бытия. Именно об этом роман. Иначе незачем было повествовать о том, как безумствовал Дон Кихот. И «Божественная комедия» создана потому, что Беатриче есть – и не только в душе верующего поэта, но есть независимо даже от этой веры. Есть потому, что весь загробной космос выстроен вокруг той, которая дарует высшее блаженство. И ради поисков этого высшего блаженства стоит и обычным по размерам людям, и великанам из раблезианской утопии задумать и довести до конца путешествие к Оракулу божественной бутылки.

Какие разные книги. Я тогда уже, в отроческие годы, почувствовал их разницу, их внутреннюю глубинную ипостасную близость. Я понял уже тогда, как по-разному, в этом смысле, насколько свободно, подлинно свободно воплощается ипостасность. У меня не было ни выдуманной Дульсинеи, ни подлинной Беатриче. Не было и поисков. Я, естественно, не спрашивал ни Пантагрюэля, ни себя самого – жениться мне или не жениться. Я знал, что женюсь. Нужно было самому быть готовым к тому, чтобы совершить это путешествие к самому себе. Ну что ж, я совершал его всю жизнь и не буду искать каких-то особых слов, отвечая себе, нашёл я или нет тот самый свой центр, который везде, а окружность нигде. Жизнь завершается, и я знаю, что нашёл. Но вот по-настоящему ещё это не выразил. Слово ещё ждёт того, чтобы я позвал его, притронулся к нему и собрал бы это слово вокруг себя и в себе самом. Может быть, об этом и вся моя ненаписанная повесть. Потому что тот путь, который я совершил, когда начал диктовать её, и сегодняшнее утро, может быть, это и есть начало и конец ненаписанной повести? Нет, я думаю, что мне еще кое-что предстоит. А это просто разговор с самим собою. Но я чувствую невольную радость где-то на той границе, которая мне предстоит, радость от того, что я, в общем, оставался верен этому ипостасному триединству. И сама вера в ипостасность ставит эти вопросы. Безумие ли это, действительно ли это правда, которая вознесет меня, вознесет меня к Богу, или, напротив, прервет меня. Меня просто не будет. И действительно ли я совершил это путешествие к ипостасности? Быть может, Противоречащий, который незримо всё равно сидит за этим круглым столом, не преодолен, не побежден, а, наоборот, торжествует? А на самом деле, ипостасность есть. Во всяком случае, я подарен счастьем любви, которая сейчас меня спасает, держит в мире бытия и говорит мне о том, что оно еще не исчерпано и, больше того, никогда не будет исчерпано.

Вчера ко мне пришли две мои бывшие аспирантки, защитившие диссертации. Одна из Ханты-Мансийска, другая вот – рядом, в Питере. Это она сделала так, что я уже давно, разговаривая с самим собой, разговариваю с теми, кто просит меня что-то сказать. О литературе, о Боге и о себе самом. И эти видеозаписи охватывают неисчерпаемые и неисчерпанные пространства моего путешествия к себе самому. И мы говорили о Юване Шесталове и о том, что он верил, был убежден в том, что он бессмертен. Умер он внезапно. Я думаю, исполненный веры в то, что для него смерти нет.

И вот одна из самых поздних книг «Притчи», в полном составе, которая неожиданно для меня была издана, где собраны мои повести и где всё их расположение, всё их содержание обращено к Шесталову и как будто ему посвящено. Моему другу, – тому, кто подарил меня такой безумной, такой исполненной веры и такой трепетной в поисках истинного обретения себя самого дружбы. Юван называл эту дружбу гениальной. Я сейчас почти впадаю в детство, такими несовременно торжественными словами прикасаюсь к этому чувству. Мы говорили вчера о Юване и о том, как он возникает в последней повести или в романе, который входят в эту книгу «Правитель», и как он незримо, почти мерцая в полутьме комнаты, той, где мы вчера разговаривали, появлялся. И отдавал герою свою жизнь, сам прерывал её с тем, чтобы отдать. Вот получилось, что вся книга и в самом деле, от первой до последней страницы, посвящена моему другу. Вероятно, таково соотношение того, что вообразено, и того, что на самом деле. Вот эта встреча – предчувствованного, воображенного и действительного – оно и есть ипостасность. И никто никогда до конца не решит вопрос о том, есть она или нет. Вера говорит – есть. Испытующая мысль вправе сомневаться ради возвращения к этой вере. А вся жизнь, вся судьба – поиск. И поиск, насыщенный человеческой правдой, поиск неисчерпаемый. Потому что, какие бы страшные острова ни приходилось проплывать в этом путешествии к Оракулу божественной бутылки, но обретение Бога (который даже не в небесах, а глубоко в недрах земли), ещё и ещё раз, и без конца, и на грани, которая обозначает конец, и за этой гранью – говорит о неисчерпанности, неисчерпаемости духовного смысла всей жизни. Кто знает, может быть, это и будет последнее чувство и последние строки моей ненаписанной книги.

30 ноября 2019

Данте, Рабле, Сервантес. Хронологически именно так. Что же получилось в перекличке этих имён и миров? Данте оказался самым счастливым, потому что он нашёл, встретил свою Беатриче. И вся жизнь его, с 9 лет была определена этим именем и образом. Панург у Рабле пускается в путешествие за своей Беатриче и пока ещё не находит её. И не известно, найдет ли. Когда я предложил, ещё будучи учителем, где-то в шестидесятые годы на занятии ЛИТО в 30 школе написать в стиле Рабле одну добавочную

главу, кто-то из учеников придумал, что надо завершить роман женитьбой Панурга на волшебнице Бакбюк. Той, которая разъяснила весёлым утопийцам, где и как надо искать Бога. И вот они готовы были вернуться в утопию, проделав опять некое обратное путешествие мимо страшных, чудовищных, гротесково страшных островов. Они предложили весело: Панурга оставить у Оракула божественной бутылки, ибо лучше и совершеннее, чем прекрасная волшебница Бакбюк, жены Панургу не сыскать. Конечно, это была шутка, и у меня где-то есть эта главка. Я перепечатал её на машинке, вложил в томик моего Рабле. Иногда перечитываю эту главку и как будто опять вдыхаю воздух тех шестидесяти годов. Но, во всяком случае, Панург у Рабле не нашёл свою Беатриче Портинари. Но понял, как надо её искать.

А у Сервантеса Дульсиня Дон Кихота – плод его безумного воображения; она есть, но на самом деле её не существует. И к концу своих путешествий, в итоге всех подвигов, потерпев сокрушительное поражение, Дон Кихот теряет свою Дульсиню. Но это потеря – катастрофа не только для Дон Кихота: и для Санчо, и для самого Сервантеса, и для читателей романа. Ибо кончается он горестным выздоровлением идадьго. «Умер мудрым, жив безумным». А на самом деле, прав Мигель де Унамуно. В своей книге «Житие Дон Кихота и Санчо Пансы» Мигель де Унамуно в предисловии к этой книге говорит о пути к гробу Дон Кихота. А первые её предложения так прямо и формулируют главную мысль: «Мы ничего не знаем, – пишет Унамуно, – о детстве, юношеских годах Дон Кихота. Того, кто своим безумием пробуждает в нас наш разум». Итак, получается, что современник Шекспира Сервантес подытоживает горестно то, что так провозгласил на весь мир и живущим землянам, и душам тех, кто переступил черту земного бытия. Он провозгласил то, что Беатриче есть. И она – олицетворение высшей мудрости и высшего блаженства. И точно указал её место. Место её бессмертной души – в Небесной Розе. В центре которой – Бог, окружение его – души достигших святости. И лучи этого высшего света идут от Бога и от Беатриче, проникают в душу поэта, помогают разрешить квадратуру круга его исканий, когда он пытается понять, как же божество воплотилось в человеческой форме. И он уносит из рая в мир земного бытия этот образ и эту правду.

Данте это провозгласил. Причем, здесь трудно провести границу между воображением и верой. Одно ипостасно другому. И Данте оказывается самым счастливым; тем, кто бросил миру вызов и обрадовал земное бытие своей верой и любовью. И вот Сервантес сказал: «Это безумие. Это есть, но только в воображении. И тот, кто живёт под знаком этого воображения, безумец, он смешон и в итоге обречен на выздоровление ценой утраты своего счастья». Да, то, что у Данте выглядело и было, не только выглядело, величием личности, которая жизнью и смертью своей, и своей «Божественной комедией» утвердила правду своего служения и своей любви, то, что у Данте было величием, стало комическим саморазоблачением у Сервантеса. Но во втором томе романа он явно испытывал ту же боль и горечь, какую переживал Санчо, рыдая над умирающим Дон Кихотом. Так Шекспир и Сервантес хронологически подытожили эпоху Ренессанса: Данте – ее начало, Сервантес – ее финал.

И вот удивительный поворот в моих исканиях, в моей попытке разгадать величайшего Пушкина, который недаром воспринимал весь опыт мировой поэзии как нечто, предсказывавшее его, Пушкина, подвиг. Я уже говорил себе, что в тридцатые годы Пушкин задумал свою «Божественную комедию». И в стихотворении «В начале жизни школу помню я» начал её писать. Это то, что осталось недописанным, но там есть свой особый, пушкинский вариант поисков Беатриче. Я уже вспоминал о том, как очень интересно мой учитель по университету Макогоненко неожиданно, может быть, для себя самого, не осознавая в целом этой проблемы, её решил для меня. Он исследовал всех претендентов на титул Беатриче для Пушкина, всех женщин, кому якобы Пушкин посвятил свои лучшие стихи о любви. Пришёл к выводу, что ни одна из этих женщин не была предметом его любовной лирики, что Пушкин влюблялся бесчисленное число раз, но любил одну. Имя этой одной неизвестно. И искать её, разгадывать, кто же был предметом утаенной любви, не надо, потому что Пушкин этого не хотел. «Сердце вновь горит и любит оттого, что не любить оно не может». «Заклинание».

Зову тебя не для того,
 Чтоб укорять людей, чья злоба
 Сгубила друга моего,
 Иль чтоб изведать тайны гроба,
 Не для того, что иногда

Сомненьям мучусь... но, тоскуя,
 Хочу сказать, что всё люблю я,
 Что всё я твой: сюда! сюда!

У Данте не было сомнений, а Пушкин по-своему выразил это глубокое сомнение, обещавшее разгадку, преодоление себя самого. В стихотворении «В начале жизни школу помню я» – поиск и предчувствие земной и великой любви. Той, которой можно было бы посвятить и первую, и вторую половину земного бытия. Он убегал, как сказано в этом стихотворении, от тех высоких, возносящих к небу, понятных, благочестивых разговоров, которые вела со своими питомцами жена. Величавая жена, которая руководила школой: Смиренная, одетая убого,

Но видом величавая жена
 Над школою надзор хранила строго.
 Толпою нашу окружена,
 Приятным, сладким голосом, бывало,
 С младенцами беседует она.
 Её чела я помню покрывало
 И очи светлые, как небеса.
 Но я вникал в её беседы мало.
 Меня смущала строгая краса
 Её чела, спокойных уст и взоров,
 И полные святыни словеса.
 Дичась её советов и укоров,
 Я про себя превратно толковал
 Понятный смысл правдивых разговоров.

Этот момент имеет, конечно, параллель в «Божественной комедии» Данте. Он возвращает к той песне «Чистилища», где Данте встречается с душою Беатриче, и она упрекает его; упрекает его в измене, в том, что он увлекся девчонкой. Так прямо и сказано. В том, что он забыл о Беатриче, ушедшей к Богу. И Данте испытывает глубочайшее стыд, но при этом ловит в своей душе прежнее земное чувство любви к Беатриче. Это противоречие так глубоко в его душе, так пронзает насквозь его душу, что он лишается чувств. Кстати, это второй раз в «Божественной комедии». Первый раз он лишился чувств, когда услышал рассказ Франчески Да Римини и услышал рыдание

Пауло, её любимого, который был убит Джанчотто Малатеста, убившего следом за своим братом и её, Франческу. «Дух говорил, томимый страшным гнетом, другой рыдал. И мука их сердец чело моё покрыла смертным потом, и я упал, как падает мертвец». Любовь, осужденная в аду самим Богом, предназначенная пребывать в этой вихре, напоминающем вихрь страсти, захватившей при жизни двух любящих, эта любовь замужней женщины к женатому юному Паоло осуждена. Но Данте всем сердцем своим её приемлет, чувствует муку двух любящих и лишается чувств от силы этого сопереживания. И вторично поэт лишается чувств в земном раю при встрече с Беатриче. После её укоров. И, может быть, советов на вторую половину жизни, которая ему еще будет открыта после загробного видения. «Дичась её советов и укоров». А тут в чистилище он приемлет всю глубину правды этих укоров и советов, этой любви Беатриче к нему. И той ответной любви, земной по своей природе. Поэтически это чрезвычайно сильное мгновение во второй части «Божественной комедии». И Пушкин по-своему передал в стихотворении «В начале жизни школу помню я» нечто подобное, нечто ипостасно близкое. Дичась советов и укоров благочестивой жены, женщины, конечно, святой души, воплощения и олицетворения высшего блаженства, отрок убегал в великолепный мрак чужого сада и там видел двух бесов изображения. Оба были бесы. Дельфийский идол Аполлон и другой, «женообразный, сладострастный, сомнительный и лживый идеал. Волшебный демон, лживый, но прекрасный».

У Данте встреча с Беатриче была на середине жизненного пути, в загробном мире. У Пушкина ещё встречи не произошло. Было некое предчувствие: «безвестных наслаждений тёмный голод меня терзал. Уныние и лень меня сковали. Тщетно был я молод. Среди отроков я молча целый день бродил угрюмый. Всё кумиры сада на душу мне свою бросали тень». Не идеал, вознесённый в загробном мире, и даже не милый идеал Татьяны в романе «Евгений Онегин – а некий земной, соединяющий в себе небо и землю, соединяющий в себе античность и духовность веры. Вот этот идеал предчувствовался отроком. И Пушкин задумал, наверное, свою «Божественную комедию» попыткой найти этот идеал. Быть может, он полагал, что его утаенная любовь это и есть любовь к такому идеальному образу, идеальному и реальному, содержащему в себе прелесть, красоту и, с точки зрения христиан, по-христиански верующего – обман, античность, и

небесную правду величавой жены, которая спасала его, отрока, душу. Поэзия была на стороне античности. Ибо Дельфийский идол: «лик молодой был гневен, полон гордости ужасной и весь дышал он силой неземной» – речь шла именно о божественном воплощении человеческого, об олимпийце, Аполлоне. Божественное воплощение. Не то, которое открывал христианский мир, не та вторая ипостась в триединстве, которую увидел и унес с собою в душе на землю Данте. А вот то, которое открывала античность. Человеческое было бы снесено и утверждено как божественное. А не наоборот. Божественное обретало человеческие черты во второй ипостаси.

Но вот мне сейчас, несмотря на все мои в высоком стиле словеса, думается, что у Пушкина был этот замысел. Найти нечто совершенно небывалое, найти из соединения того, что не соединялось, а противостояло одно другому. Найти соединение античности и христианства в чувстве великой, утаенной от мира, но раскрытой в новой «Божественной комедии» любви, о которой раньше ему не приходилось говорить. Но вот близился рубеж, первая половина жизни (*nel mezzo del camin di nostra vita*), а за ней должна была открыться вторая половина. И там Пушкин думал сказать нечто совсем небывалое, восстановить то, что, казалось, было отвергнуто в эпоху Ренессанса, после великого утверждения. Когда и Шекспир, и Сервантес подводили горестный итог этому высочайшему верованию, соединяющему небо и землю, соединяющему античность и христианство. Кто знает, может быть, Пушкину и в самом деле хотелось не просто открыть ещё один мир по следам гения, а душевно, в своём душевном опыте, вновь родить, ипостасно восстановить утраченную и оборванную правду, соединяющую веру и поэтическое вдохновение. И соединяющую их как две силы, которые ответно выражают любовь к земной и небесной Беатриче Пушкина.